

АРТУР СОЛОМОНОВ

расследование в шести
картинах



18+

danzig & unfried

Артур Соломонов

**НАТАН. Расследование
в шести картинах**

«Автор»

2023

Соломонов А.

НАТАН. Расследование в шести картинах / А. Соломонов —
«Автор», 2023

Сатирический роман Артура Соломонова о похождениях говорящего енота и его друга Натана Эйпельбаума. Отзывы первых читателей: Андрей Макаревич: Последние годы меня не оставляла мысль - как писать про сегодняшний день? Аллегории и иносказания пахнут прошлым веком, а скатываться в публицистику не хочется. А вот именно так и надо писать! Игорь Иртеньев: Эта книга из разряда тех, которые перечитывают. Завидую тем, кто прочтет ее впервые. Александр Филиппенко: Трагифарс — такой сложный жанр, мой любимый жанр и через него Артур блестяще показывает современность. Роман ценен актуальностью и останется отражением эпохи» Ольга Романова: Дорогой Натан! Мне не совсем понятно, зачем вы затеяли этот эксперимент с нашей родиной, но давайте закончим его. Если вы сами не хотите возглавить нас и дать нам надышаться воздухом свободы, не могли бы вы поручить эту миссию своему многоуважаемому еноту? Час пробил. Только енот, только победа. С трепетом и уважением к вам, О. Романова

© Соломонов А., 2023

© Автор, 2023

Содержание

Предисловие автора	5
Тайна исчезающей жизни	6
Картина первая	8
Люстра прозрения	8
В тиши особняка	16
Не тревожьте тайну исчезнувшей жизни	17
Картина вторая	21
Трепотня древних евреев	21
Картина третья	25
Явление енота	25
Енот-ты-либерал!	29
Натан Эйпельбаум становится русским националистом	37
Мир входящим	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Артур Соломонов

НАТАН. Расследование в шести картинах

Предисловие автора

Меня всегда раздражали авторские предисловия: чего стоит твоя книга, если не говорит сама за себя, а нуждается в комментариях, в предупреждении, в предварительном разговоре с читателем? Но в данном случае придется объясниться.

Эта книга была закончена и готовилась к изданию в начале 2022 года, но после 24 февраля стало понятно, что в России она выйти не сможет, поскольку написана в предчувствии большой войны, и во многом касается случившейся с нами катастрофы.

Я очень благодарен австрийскому издательству Danzig & Unfried и лично Эрнсту Грабовски, принявшему решение опубликовать книгу на русском языке. Традиции «тамиздата» продолжаются, и это еще один из симптомов почти неправдоподобной болезни, поразившей нас: прошлое вернулось не только в больших сюжетах, но и в мелочах и подробностях. Судя по всему, наше неизбежное путешествие по самым тяжелым его страницам только начинается. Но есть и вселяющие оптимизм отличия: благодаря интернету, пока еще не полностью подконтрольному государству, книга может дойти до читателей в России, чего бы мне, конечно, очень хотелось.

Стоит, наверное, заранее предупредить о законах (или даже беззаконии) этого текста: он весь пронизан абсурдом. Когда два главных героя, Натан и говорящий енот Тугрик, создавали партии, объявляли войны, становились националистами, глобалистами, милитаристами, пацифистами – словом, проходили через все политические и социальные соблазны, – это был настолько увлекающий меня поток гротеска и абсурда, что я уже не смущался тем, как далеко перешагнул границы реального и забрел в область фантастического. А потом жизнь перешагнула эту черту – по крайней мере жизнь российская – и полностью ушла в область кровавого абсурда и мрачной фантастики.

Как это нередко случается, начались совпадения текста с реальностью. А уж когда российские войска, отступая, прихватили с собой енота из херсонского зоопарка и животное стало героем новостей, обрело характер, голос, а потом еще и начало вести какой-то безумный телеграм-канал... Кстати, мой енот, конечно, никогда бы не опустился до ведения z-канала, и здесь я категорически не согласен с сюжетом, предложенным жизнью.

Енот Тугрик, как мне верится, сделал все, чтобы катастрофы не случилось – пусть и в придуманном мире. Усилия говорящего енота и его напарника Натана Эйпельбаума, видимо, пропали даром, как и множество наших усилий. Но это ведь не причина, чтобы не предпринимать их снова?

Тайна исчезающей жизни

Конечно, книги надо издавать вовремя, желательно сразу после того, как они написаны. У авторов бывают прозрения, предчувствия и прогнозы, которые придают произведению почти мистическую окраску.

Герою романа «Натан», попавшему в Кремль и получившему благословение на создание чего-то вроде плана спасения России и ошалевшего от собственного могущества (в результате чего он по ночам бродил по кремлевским коридорам в одеждах исторических персонажей), однажды «непоколебимо захотелось напасть на соседние страны... Тогда он надел фуражку маршала Жукова и завопил с самой высокой кремлевской башни – в ночи, во время грозы, в блеске беснующихся молний: «На Киев! На Прагу! На Варшаву! Покорить! Паа-каааа-риить!».

Сейчас эта «милитаристская эйфория» уже реальность, а два года назад, когда был написан роман, она еще казалась художественным преувеличением, гротеском. Так долгие годы мы думали, что «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» – сатирические фантазии Ильфа и Петрова, а сейчас-то понятно, что это был сугубый реализм.

Мне повезло прочитать «Натана», когда еще, как раньше говорили, чернила не просохли, и первый вопрос, который я задала автору, есть ли у него идея, как и где это издать. Что публиковать книгу надо немедленно, я не сомневалась: роман дышал сегодняшней политической жизнью, страшной и смешной одновременно. Но вот я читаю его сегодня – и он не только не устарел, у него как будто появились более глубокие смыслы. И более понятной и оправданной стала сюжетная рамка, когда группа исследователей по госзаказу изучает феномен, «тайну исчезнувшей жизни» Натана Эйпельбаума, выдающегося авантюриста, «беззаветного служителя хаоса», безумца, охваченного дикими идеями, русского националиста в ермолке, «изумительного еврея» (помните «чудесного грузина»?), объявившего, что «Россия стоит на особом, неведомом даже ей пути». И не осталось, кажется, ни одной сферы жизни, где он, свихнув своими проповедями мозги сограждан, не перевернул бы вверх ногами представления о нормальном.

У меня есть любимая часть в «Натане» – про его приключения в Кремле, куда он попадает интригами своего подельника-енота. Там все вкусно: и разговоры с двоюродным братом Нухом Эйпельбаумом (он же Иван Петрович Синица), главным наркологом (!) Кремля с обширными и таинственными полномочиями, который смешивал яды в своей лаборатории; и дискуссии с министрами в подземных кремлевских банях; и подслушивающий под дверь «первого лица» начальник администрации, отправляющий в шифровальную записи президентского ворчания, доносящегося из кабинета...

Текст романа насквозь пронизан аллюзиями. Например, Натан создает единую, безбрежную и всеохватывающую партию, возглавляет пропагандистскую цитадель, загоняет в подполье демократическую оппозицию («прикиньтесь безопасными дурачками»), вдохновляет конгресс деятелей культуры («Только около трона мы запретим высказываться и размахивать руками. Около трона надо шептать «ура», а руки держать на обозрении охраны. Все остальное мы вам позволим. Но вот и первый парадокс: трон вездесущ»), раздувает жар милитаризма, садится в тюрьму и даже летит в космос, чтобы не осталось ни одного уголка, не охваченного его параноидальным энтузиазмом.

В романе есть даже любовная лирика, образец литературного творчества Эйпельбаума, «Письмо любимой женщине» – парадоксальная и нежная проза, отсылающая к первому роману Артура Соломонова, «Театральная история», сатирическая пьеса на основе которого успешно шла на московских сценах. Сейчас одна за другой в разных городах и странах идут театральные постановки пьесы Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Так что, можно сказать, что автор уверенно заявил о себе как о драматурге. Новая проза появилась неожиданно.

данно, и автор долго не пускал ее в люди. Не мне давать ей литературоведческие оценки, я могу лишь радоваться как читатель и приветствовать столь весомый вклад в познание нынешнего русско-российско-советского «коллективного бессознательного», порождающего такие фантазмы, как, например, обсуждаемый властной челядью «закон о запрете будущего». И почему-то мне кажется, что после того, как роман будет издан, кому-нибудь захочется перенести его на сцену. Очень уж хороши диалоги и сюжетные ходы!..

Есть слова, которые в смутные времена надо произносить с подмостков, вслух, в полный голос: «Не смейте ни одно живое существо принуждать ни к чему: это самый большой грех. Не надо лишать его свободы воли и выбора. Ведь каждый из нас пришел, чтобы стать собой за плачевно короткий срок. Хотя бы не мешайте!.. Разве вам мало того, что человек смертен? Вам мало, что он не способен охватить разумом даже собственную жизнь? Что чувства его прерывисты и преходящи, что он ненадежен даже для самого себя в своей божественной, в своей дьявольской переменчивости? Но нет! Вам надо унижать и уничтожать других за ваши иллюзии, лишать свободы и даже жизни за ваши «идеалы»! Неужели вы думаете, что я помогу вам в этом?»

*Любовь Цуканова,
The New Times (Москва)*

Картина первая Растерянность и упование

Люстра прозрения

Не лучше ли плюнуть?

Так мы, члены редколлегии, спрашивали друг у друга, приступая к созданию сборника, посвященного Натану Эйпельбауму. Не будет ли правильнее, если этот человек канет в лету, не оставив следа? Тем более что его следы коварно запутаны: это следы беглеца, который стремился ускользнуть не только от правосудия и Божьего суда, но и от себя самого. Увы, следы Эйпельбаума разной глубины и наглости оставлены и в душе каждого из нас: многие получили неисцелимые травмы, некоторые одержимы жадной мести, а кое-кого мы подозреваем в так и не остывшей любви к Натану.

Но прежде всего нами владел долг ученых. Он требовал истины, он влек нас к ней. И мы знали, где она обитала.

В прохладный сентябрьский полдень всей редколлекгией мы направились в заброшенный дом Эйпельбаума. Я призвал коллег не обольщаться уютным названием станции метро, возле которой жил Натан – «Бабушкинская». Но никто обольщаться и не думал.

В молчании поднимались мы по скрипучим лестницам дряхлого дома. Квартира Натана находилась на втором этаже, но шли мы так долго, словно взбирались на Эльбрус. Зловеще осыпалась на наши головы штукатурка, ступеньки выскрипывали устрашающую мелодию, предостерегающе мигали лампочки. Нас охватил страх; лишь я беспечно насвистывал, стремясь скрыть, что разделяю чувства коллег. Я задался вопросом: «Побеждает ли моя мелодия скрип ступеней?» Обернувшись на трепещущую группу ученых, я понял, что мои усилия по созданию атмосферы беззаботности успехом не увенчались. Я прекратил насвистывать, поскольку заниматься бесперспективными делами не в моих правилах.

Мы остановились у ветхой двери под номером семнадцать. Я достал ключ, выданный мне обществом «Знание», и вставил его в замок. Толкнув дверь и проникнув в квартиру, мы оказались в ловушке, из которой не можем выбраться до сих пор, хотя покинули жилище Эйпельбаума в тот же вечер.

Но обо всем по порядку, ведь упорядочивание – единственная возможность для нас, ученых, противостоять хаосу, беззаветным служителем которого был Эйпельбаум.

Повсюду царил полумрак. На окнах висели рваные занавески, словно кто-то взбирался по ним к потолку, оставляя следы цепкими коготками. Посреди пыльной гостиной стоял гигантский самовар – тот самый, в котором было выращено Натаном самое грандиозное политическое движение наших дней. Профессор политологии приставил к самовару шаткую лестницу, бесстрашно забрался наверх, с тяжким усилием и ржавым скрипом отодвинул крышку и заглянул в самоварову бездну. «Ничего особенного, кроме размеров», – свысока сообщил он нам предварительные результаты исследования. Как только он это произнес, люстра над нашими головами угрожающе закачалась. «Та самая, – прошептал, неловко уворачиваясь и пугающе пошатываясь, политолог. – **Люстра прозрения**, как он ее называл. . .» Я предложил поскорее выйти из радиуса поражения люстрой: ведь никто из нас не желает, подобно Натану, получить

озарение благодаря «снисхождению люстры на затылок» (так говорил Эйпельбаум, описывая первый мистический катаклизм, с ним случившийся).

Мы коллективно отскочили к могучей куче документов, сваленной на полу. Это был архив Натана. Документы – потрепанные и ламинированные, полуистлевшие и прекрасно сохранившиеся – были собраны объектом нашего исследования в гигантские папки, которые пожелтели от времени и приоткрылись; некоторые документы лежали на полу вперемешку. Судя по всему, папки обозначали периоды жизни Эйпельбаума: «Натан Первый», «Натан Второй», «Натан Третий». На четвертой, самой ветхой и толстой, размашистым почерком было написано: «Разное».

– Вот оно как... – профессор психологии хищно оглядывал архивную гору. – Трех папок, значит, Натану не хватило. Ему еще и «Разное» понадобилось.

– Гордыня! – заявил отец Паисий (тоже член нашей редколлегии) и осуждающе перекрестился.

– Вроде того, – задумчиво отозвался психолог и язвительно добавил: – Натан намекает, что даже трехликость не может выразить его богатый внутренний мир.

– Откуда он вообще достал папки такого размера? Я вот никогда таких не видел, – произнес богослов, и несколько членов нашей редколлегии согласились с ним, а психолог поставил свой первый диагноз Эйпельбауму: «гигантомания».

Архивный Монблан окружали старые стулья, словно кто-то знал о нашем приходе. Молчаливо оглядев призывающую нас мебель, мы расселись вокруг документальной громады – каждый на свой скрипучий стул – и протянули к ней руки. Теперь мы знаем: в ту минуту и произошло инфицирование. Но тогда мы с энтузиазмом начали раскопки, добывая из архива свидетельства и факты, лжесвидетельства и фейки. Нас вдохновляло предчувствие грандиозной научной работы по отделению истины от неправды.

Мы сразу обнаружили многочисленные свидетельства о вступлении в брак: Натан связал себя семейными узами с шестью женщинами в течение трех лет. При этом свидетельств о разводе было всего два, а третий документ гласил: «Натан и Ольга объявляют о временной приостановке брака». К этому бурному брачному периоду относилась и гербовая бумага из Сретенского монастыря, гласящая: «Брат Нафан принят в ряды братии сей святой обители и благословлен на прохождение подвига молчальника и страсготерпца».

Приветственное письмо от тибетского далай-ламы относилось к тому же периоду жизни Эйпельбаума и свидетельствовало: этот всемирно уважаемый человек рад, что Натан принял буддизм и теперь сделает все возможное, чтобы не родиться вновь.

– Славно сформулировал далай-лама, – бормотал богослов, рассматривая в тусклых лучах настольной лампы письмо лидера буддийского мира. – Мол, хорошо бы тебе, брат Натан, больше не рождаться. А вы заметили постскриптум? – он протянул мне письмо. – Лама просит Натана «принять в знак признательности гималайского енота».

Я выхватил из рук богослова письмо далай-ламы и торжественно предъявил его ученому совету. Высокочувствительные профессорские носы почуяли запах научного открытия (сразу хочу заметить, что я ироничен, и не намерен этого скрывать, тем более в процессе столь серьезных исследований).

– Это настоящее сокровище! – ликовал я. – Благодаря письму далай-ламы мы узнали, откуда взялся енот, который сопровождал Эйпельбаума в его полете в космос!

– Полете, оскорбившем всех ученых! – этот возглас принадлежал астрофизику. – Есть вещи неприкосновенные, и Вселенная относится...

– Этого уже не изменить! – мне пришлось прервать возмущенного астрофизика. – Но теперь исток енота нам известен, а для ученых главное – обнаружить корень явления.

– Согласен, это прекрасная находка, – авторитетно отозвался политолог, слегка отстраняясь от астрофизика. – Все мы знаем о невероятном влиянии, которое оказало гималайское

четвероногое на политический триумф Эйпельбаума. Это письмо – выдающаяся улика в нашем расследовании...

– Это ниточка, – тихонько произнес богослов, словно боясь вспугнуть начавшую приоткрываться истину. – Потянув за нее, мы размотаем весь клубок... Метафизический клубок, не политический... – как бы вскользь заметил он, даже не глянув на политолога.

Вдохновленные, мы вновь склонились над «клубком». Лишь батюшка не разделял энтузиазм ученых: он смотрел на наше воодушевление скептически, и громко, мешая нам размышлять, называл Натана «пророк без Бога и учитель без учения». Мы не отвечали отцу Паисию: архив гипнотизировал нас.

Награды от правозащитной Хельсинкской группы соседствовали со статуэтками и почетными грамотами от пропагандистских, попирающих все человеческие права, телеканалов.

«Выдающемуся коллеге-путешественнику», – так подписал Тур Хейердал книгу, которую подарил Эйпельбауму. В неё издевательски – явно рукой Натана – было вложено приветствие от журнала «Домосед»: «Человеку, своей жизнью доказавшему, что можно познать мир, не покидая пределов квартиры».

Десятки писем от женщин свидетельствовали, что одним он открыл сферу сексуальных наслаждений и они теперь «безмерно счастливы», других же привел к аскезе, и теперь они «счастливы безмерно».

Мы передавали друг другу воззвания Натана к «народу» и «элите». В первом он обещал бороться за «поруганные права простого человека», во втором возвещал «об окончательной битве за необъятные права элиты».

«Позвольте выразить почтение бесстрашному и стойкому атеисту», – так начиналось послание Натану от английского научного сообщества, и мы удивились наивности британских коллег. «Приветствуем великого борца за христианство», – обращались к Натану три кардинала, и мы подивились наивности католических иерархов.

Заразившись нашим энтузиазмом, отец Паисий присоединился к раскопкам.

– Вот, поглядите на красавца, – скривил он губы под черными усами. – Скачет куда-то! Скачет он!

Батюшка протянул мне вырезки из газет: по русским просторам на вороном коне мчался Эйпельбаум в кипе.

– Ишь, гарцует! – сердился батюшка. – Аж кипа на ветру развевается...

– Так не бывает, отец Паисий, – ласково возразил ему богослов и передал мне другую газету. Черный крупный заголовок вопрошал: «Что делать еврею на коне?» Так озаглавил свою статью главный раввин Москвы, когда решил высказаться по поводу «очередного подвига Эйпельбаума». Я напомнил батюшке и богослову, что чуждые распри не входят в сферу наших научных интересов. Нас занимает другое: как возник и вжился в массовое сознание образ Натана, покорителя русских просторов? Почему, пока Эйпельбаум скакал по России – как на вороном коне, так и, фигурально выражаясь, на коннице самых причудливых идей, – это почти ни у кого не вызвало ни протеста, ни даже недоумения? Не значит ли это, что антисемитизм побежден, и уже одним этим оправдан наш парадоксальный и во многом безнадежный исторический период? В ответ на мое оптимистическое предположение кто-то гнусно хихикнул – увы, я не отследил, кто именно.

Наконец нами были обнаружены секретные дневники Эйпельбаума. Мы прекрасно понимали, что даже тайные записи рассчитаны на аудиторию: мечта о ней, жажда ее проскальзывает в самых интимных текстах. Но перед нами был более сложный случай: создавая эти якобы откровенные дневники, Натан хотел повести потенциальных читателей по ложному следу. Потому коллеги поддержали меня, когда я воскликнул:

– Мы не сделаем самотолкование Натана нашим собственным толкованием!

– Не на тех напал, – согласился отец Паисий, завистливо разглядывая письмо католических кардиналов.

Принимаясь за изучение дневников Эйпельбаума, мы – а в нашем коллективе были выдающиеся филологи и лингвисты – надеялись на главное свойство текста: даже созданный с целью обмана, он неизбежно демонстрирует личность автора.

– Истинный читатель, – сказал доктор филологии, сквозь лупу разглядывая дневники Эйпельбаума, – это неумолимый и зоркий следователь. А текст – преступник на допросе, главная цель которого – увертываться и посылать ложные сигналы. Сердечный ритм всякого текста скрывается и мерцает, и наша задача – сделать «кардиограмму» дневников Эйпельбаума. Мы поставим Натану окончательный, не подлежащий обжалованию филологический диагноз. Мы разоблачим его, то есть разгоним облака, нагнанные им самим. И увидим, какую неприглядную картину осветит освобожденное нами солнце.

Речь филолога была настолько великолепна, что в квартире Натана раздались аплодисменты. Правда, нам показалось, что аплодируем не только мы, но еще кто-то – незримый и хамоватый, бесплотный и беспардонный.

Мы презрели коллективную слуховую галлюцинацию с бесстрашием ученых. Она не могла помешать нам, ведь наши взгляды уже горели исследовательским пылом, тем самым, так любимым мною пылом, который обещает научные открытия. Но, как оказалось, не все мы были одержимы бескорыстным поиском истины. Очаровательный профессор лингвистики, не скрывая дрожи в красивых тонких пальцах, вытянула из архива любовное письмо Эйпельбаума, адресованное неизвестной получателнице, и стала читать его с совершенно ненаучной страстью. Это нас обеспокоило. Дыхание профессора прерывалось, предвещая рыдания, что вскоре и случилось: она заплакала громко и горько. Мы, конечно же, многозначительно переглянулись. Сбылись наши мрачные подозрения: Эйпельбаум успел побывать и в ее спальне. Это было особенно оскорбительно, учитывая, что несколько мужчин с серьезным научным весом пытались обрести счастье в объятиях прекрасной лингвистики, но неизменно получали отказ. Несколько таких мужчин сидели сейчас подле плачущего профессора и угрюмо рассматривали потрескавшийся Натанов ламинат. Только этому бездушному половому покрытию ученые могли доверить, как оскорблены они в своих светлых чувственных надеждах и дерзких эротических мечтах.

Не прекращая плакать, профессор положила письмо в сумочку. Мы резонно заметили, что надпись на конверте «Моей возлюбленной» вовсе не означает, что письмо адресовано именно ей. Это заявление повергло исследовательницу в истерику, и многие из нас пожалели, что когда-то помогли ей получить ученую степень, желая усилить красотой наши в целом неприглядные ряды.

Плотным научным кольцом окружили мы ее, рыдающую, и прислушались к себе: что победит в нас – сострадание к коллеге или исследовательский пыл? Второе без труда одержало верх. Мы были неумолимы: профессору придется допустить научное сообщество к исследованию любовного послания Эйпельбаума.

После непродолжительной борьбы, в которой самое деятельное участие приняли богослов и психолог, письмо было изъято из сумочки и присовокуплено к научным уликам. Сразу же после изъятия письма бывшая любовница Эйпельбаума открытым голосованием была лишена статуса члена редколлегии. Я с улыбкой заметил отцу Паисию, что поднимать две руки излишне. Он среди ученых, мы не попадемся на столь наивную удочку. Да и напрасна она, эта удочка: мы едины в своем намерении исторгнуть пристрастного исследователя из нашего коллектива.

Уходя, лингвистка яростно хлопнула дверью, и на голову астрофизика рухнуло чучело какого-то зверька.

– Это он! Он! – воскликнули мы, опознав гималайского енота по нахальной ухмылке.

Падение енота привело выдающегося богослова к легкому параличу, хотя чучело упало вовсе не на него. Укрыв енота рваным пледом и напоив богослова валерианой, мы приступили к исследованию дневников. (Нас, конечно, насторожило, что валериановые капли оказались рядом с архивом Натана и мы заметили их ровно тогда, когда в них возникла необходимость).

Мы погрузились в чтение. Когда настенные часы медленно и мрачно пробили двенадцать, богослов побледнел.

– Чучело... Только что... – зашептал он, – потребовало нашей капитуляции...

– В каком смысле? – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мужественней. Судя по встревоженным лицам коллег, мне это не удалось.

– Послало нас всех на... – увы, богослов употребил абсолютно непечатное слово.

Мы осуждающе посмотрели на теолога и перевели взгляд на чучело: енот ухмылялся, но звуков не издавал. Однако от нас не ускользнуло, что дырявый плед исчез.

– Глядите, – прошептал батюшка, указывая задрожавшей рукой на люстру. Плед – злое и сиротливо – свисал теперь с нее.

– Ничего, – увы, и на сей раз мой голос прозвучал нетвердо. – И этому найдется объяснение.

Н.В.! Любителей чудес и ценителей сверхъестественного (особенно тех, кто успел попасть под влияние Эйпельбаума) я хочу предупредить: мы собрались не для того, чтобы спастись перед необъяснимым, а чтобы тайна, как говорил мой великий учитель, «предъявила свои потроха». Я верю, что невероятное будет объяснено, что разум даст бой чуду и выйдет из схватки победителем.

Потому я решительно призвал коллег к трезвомыслию, сейчас нам особенно необходимому, поскольку мы добрались до важнейшей записи в дневниках Эйпельбаума.

Мы считаем необходимым привести ее целиком, хоть она и завершается неожиданным и грубым оскорблением в наш адрес:

«...Истина настигает нас в самые невероятные моменты. На сей раз это случилось со мной в финале бурного застолья, как раз когда подали тирамису. Вкусив черно-белой массы, я осознал, что являюсь живой метафорой Вавилонской башни. Подобно людям с башни Вавилона, я говорю на сотне языков, непонятных даже мне самому. И – круглосуточно, неумоимо – устремляюсь на северо-западный юго-восток.

В отличие от древних вавилонян, я не стал паниковать. Я принял себя таким, какой я есть, а именно – изменяющимся каждое мгновение. Я есть хаос: это мое единственное убеждение. Посмотрел бы я на тех дураков, которые пожелают его опровергнуть!

Потому я заявляю официальный протест против попытки составить мой портрет. Это невозможно! И вас, склонившихся сейчас над этими записями в желании ухватить за хвост хоть какую-то, хоть малюсенькую истину, я объявляю стадом ослов. Загляните в коробочку номер три – для каждого из вас там припрятан колокольчик. Украсьте колокольчиками свои смиренные носы, которые выдают робость ума и хилость духа. И тогда, благодаря колокольному перезвону, встреченные вами люди будут заранее предупреждены, что судьба свела их с парнокопытными».

Мы бестрепетно поместили здесь отрывок из дневников Эйпельбаума, чтобы у читателя была возможность оценить как проницательность его, так и чудовищную наглость.

Заглянув в упомянутую Натаном коробочку, мы обнаружили там девять колокольчиков – ровно по числу членов нашей редколлегии. Каждый из нас взял в руки по колокольчику, и в квартире Эйпельбаума раздался тревожный перезвон.

– Позвольте, – прошептал знаменитый математик, которого мы привлекли к исследованиям, справедливо предполагая, что без вычислений нам не обойтись. – Откуда Натан мог знать, что мы изгоним из ученого совета его любовницу, и нас останется девять?

– А как он мог предвидеть, что мы придем сюда вдесятером? – тихим эхом отозвался богослов, демонстрируя неменьший математический талант.

На эти вопросы научное сообщество ответило тревожным молчанием.

– Прошу прощения, но это какая-то чертовщина, – пролепетал математик. Звеня колокольчиком, он покинул квартиру Эйпельбаума с прытью, которую лучше бы ему проявлять в области мысли.

Нас осталось восемь. Мы снова переглянулись. Тревога усиливалась. Чувствуя, что наша научная работа приближается к метафизической пропасти, я обратился к коллегам, уже готовым пуститься наутек по стопам математика. И хоть сам я был, признаюсь, сбит с толку и даже слегка напуган, мой голос твердо и властно зазвучал в квартире Эйпельбаума, разгоняя сгустившиеся тучи мистицизма:

– Итак, коллеги: Натан допускает логическую ошибку, а скорее всего, хочет, чтобы ее сделали мы. Возможно, он потерпел крах самопознания. Но значит ли это, что и нас ждет поражение в процессе исследований Натана?

– Да что ж там исследовать?! – возмутился батюшка, но я предпочел не реагировать на антинаучное восклицание.

– Разве это не подлинный научный вызов? Объект ускользает и увертывается, он не желает быть познанным! – бодрил я коллег. – Но мы заставим говорить молчащее. Мы осветим боящееся света. И в итоге сделаем то, что не удалось самому Эйпельбауму.

– А не лучше ли все-таки плюнуть? – проявил малодушие богослов. – Хотите, я найду обоснование такому решению в священных текстах?

– Стыдитесь! – горько воскликнул я. – Понимаю: вы до сих пор под впечатлением атаки енота. Но низвержение чучела – это случайность, мой дорогой. Кроме того, енот упал совсем не на вас, если посмотреть на ситуацию с научной точки зрения. – Увы, мою остроуту никто не оценил. – Мы стоим на пороге величайшей загадки, то есть величайшей отгадки, и вы предлагаете отступить?! Вам лучше меня известно, – напоминал я богослову, – что вопрос о канонизации Эйпельбаума обсуждается сейчас в нескольких христианских церквях, а в буддийской Туве намереваются объявить Натана Просветленным.

– Это всего лишь слухи, – неуверенно парировал богослов. – Их распускают религиозные маргиналы, и потому относиться к ним всерьез...

– Весьма крепкие слухи! – перебил я его. – И разве вы, как повсеместно уважаемый теолог, не обязаны предостеречь религиозное сообщество от дискредитирующих решений?

Богослов опустил голову.

– А я, простите, поддерживаю голос богословия, – присоединился к малодушному теологу знаменитый психолог. – Боюсь, мы утонем во всем этом, – он указал на горы документов. – Желая разоблачить Натана, мы только подбросим дров в костер его обожания. Вот чего я опасуюсь.

– Великолепно! – произнес я саркастически. – А напомним мне, уважаемый: чья деятельность как семейного психолога отняла у вас всех клиентов? Не ваши ли коллеги съезжались на научные конференции, чтобы выпустить совместные заявления, дискредитирующие Эйпельбаума? Все было напрасно, не так ли? Он сиял, как единственная звезда, посрамляя ваши тусклые созвездия! Нет желания восстановить поколебленный авторитет вашей науки, разоблачив Натана?

Психолог поступил так же, как богослов: низко опустил голову. Так и стояли они рядом, понурившись, а богослов еще и бормотал что-то о «прощении врагов, тем более покойных». Это заставило нас посмотреть на него столь же подозрительным взглядом, каким совсем недавно и небезосновательно мы смотрели на молодую влюбленную лингвистку, пытавшуюся похитить письмо Эйпельбаума. Богослов забеспокоился – и правильно сделал.

– Так, – я перевел взгляд на астрофизика и произнес с подбадривающей иронией: – Представитель космоса, вам слово!

Астрофизик, слава науке, ринулся в бой.

– Меня до сих пор подташнивает при мысли, что Эйпельбаум проник в космос, используя свои уникальные связи! Это запредельное – прошу прощения за каламбур – космическое кумовство!

– А кому он кум? – осторожно поинтересовался отец Паисий.

– Слава Богу, уже никому! – астрофизик негодовал так сильно, что капельки возмущенной слюны оседали на одеждах богослова и психолога, имевших несчастье сидеть к нему слишком близко. – Мое мнение неизменно: я считаю полет Эйпельбаума оскорблением космонавтики!

– И осквернением Богом созданной Вселенной! – внес отец Паисий религиозную глубину в научный дискурс.

– Вы даже не догадываетесь, как вы правы! – не прекращая бурлить, поддержал его астрофизик.

– Почему же? – пожал плечами батюшка. – Я догадываюсь.

– И прекрасно! Так что я категорически за бесповоротное разоблачение авантюриста! Припечатать! Припечатать!.. И я не скрываю, – зачем же скрывать всем известное? – что у меня есть личный мотив: он соблазнил моих дочерей. И даже Клавдию... Клавдию Михайловну... Ее-то зачем, Господи?

– Личное! – вскричал я. – Личное оставляем за порогом!

Астрофизик внял, но тоже опустил голову, присоединившись к богослову и психологу.

– След Эйпельбаума в литературе сколь огромен, столь и подозрителен, – вступил в дискуссию седобородый профессор филологии. – Его тексты живут, и живут, и живут, – продолжил профессор с внезапной яростью. – А вот достойны ли они жизни? Этот вопрос стоит очень остро. Я намерен разгадать эту тайну и тем самым покончить с ней.

Представитель журналистского цеха выразил мнение: след Натана в истории журналистики так пленителен и отвратителен, что если оставить его непроанализированным, последствия для профессии могут быть самыми пагубными. Ведь до сих пор неясно: ликующий цинизм и торжествующая продажность Натана-журналиста пробудили совесть в его коллегах, или, напротив, стали для них примером?

Политолог тоже высказался за расследование деятельности Эйпельбаума: «Партия, им созданная, была вершиной политического шулерства и привлекла столько последователей, что я до сих пор разочарован в моих согражданах и родственниках. Ведь и они поверили шарлатану, бросив тень на мою репутацию». Я поблагодарил политолога за честность: наши мотивы не должны оставаться в тайне.

На дискуссию плодотворно повлиял голос православия, раздавшийся из отца Паисия:

– Как удалось ему, потомку хасидов, отчаянному атеисту, выдававшему свое дьявольское неверие за поиск Бога, – отец Паисий даже затрясся от гнева, и богослову пришлось слегка приобнять батюшку, – как удалось ему прослужить?! Два месяца? Священником?! В Храме на Пескарях, что в Калуге?! Пока я не получу ответ на этот вопрос, пока не отомщу за бесхитростных калужан, пока не устрою аутодафе всем Натановым идеям, Господь не даст мне покоя!

Голос православия звучал убедительно и оскорбленно.

– И да! – свирепел священник. – И у меня тоже есть личный мотив! И я тоже его не скрываю!

– Мы знаем, не надо, – тихо посоветовал я, и отец Паисий не стал публично вспоминать о нанесенном Натаном оскорблении. Ведь нам и так было известно, что однажды Эйпельбаум связал нашего простодушного коллегу, облачился в его рясу, вышел на амвон и произнес возмутительную проповедь перед его паствой.

Воспоминание терзало батюшку: казалось, он и сейчас старается избавиться от веревок, которыми его опутал Натан. Сострадая его попыткам освободиться от невидимых пут, я пообещал ему:

– Мы поможем вам расквитаться с Натаном интеллектуально. Ведь здесь собрались, как говорил мой великий учитель, «поклонники архивов и верные рыцари фактов». Положитесь на нас.

Я призвал к открытому голосованию. Решение было принято: исследования продолжать! Вердикт поддержали даже те, кто все еще не осмеливался посмотреть нам в глаза: они голосовали с опущенными головами.

Мы вышли из квартиры Эйпельбаума, объединенные гордостью за дерзость науки: вопреки страхам мы не свернули с намеченного пути. Звенело семь колокольчиков: мы поклялись носить их, пока не закончим работу.

В тиши особняка

«Не расставаться до конца исследований!» – таким был наш вердикт. Мы поселились в моем уютном особнячке на Полянке. Супруга моя, Александра Леонтьевна, уехала в приморский санаторий, и в нашем распоряжении был почти месяц покоя.

В первый же вечер обнаружилось немыслимое: астрофизик выкрал из квартиры Натана чучело енота. От вопросов ученый уклонялся, возмущение игнорировал, а когда отец Паисий напомнил ему о заповеди «не укради», он гнусно расхохотался прямо в лицо батюшке.

Много фантастического и катастрофического случилось в те дни. Всего и не упомнить, а что помнится, то вызывает стыд...

Наши споры разгорались: мы дискутировали по принципиальным и самым ничтожным вопросам с такой страстью, словно от наших решений зависели судьбы мира и науки. Нам никак и ни в чем не удавалось достичь единства, и мы сочли это закономерным – ведь Натан был категорическим противником единства даже в пределах одного человека, что уж говорить о коллективе? В каждой ссоре, в каждом скандале нам чудилось влияние Эйпельбаума. Нам казалось, что покойный интригует против нас и насмехается над нами.

Мне нередко приходилось звонить в колокольчик, чтобы перевести разговор в научное русло.

Принципиальные вопросы мы обсуждали во время трапез. Например: с чего начать представление Эйпельбаума читателю? Во время чаепития с бубликами и суфле мы приняли решение включить в создаваемый нами сборник любовное письмо Натана, спасенное нами из рук влюбленного профессора.

Рискованность этого включения мы прекрасно понимали: лирический, страдающий, оболстительно-несчастный Натан способен вскружить головы читателям и особенно читательницам. Но только так каждый сумеет понять и почувствовать, какой гипнотической силой обладал этот человек и почему ему так много удавалось, столь многое прощалось и всегда предоставлялся шанс начать все заново. А ведь это всего лишь слова, всего лишь строки! Если же учесть неотразимое обаяние этого выдающегося авантюриста, полубесноватого-полусвятого, то не приходится удивляться, что даже те люди, которым он бесповоротно исковеркал жизнь, тоскуют по нему. Что тут можно сказать? Большинство из нас готово мириться со всем, кроме скуки, а Натан Эйпельбаум был величайшим борцом со скукой. Если бы на этой войне выдавали ордена, он оказался бы полным и окончательным кавалером.

Ведь даже враги вспоминают Натана с нежностью. Например, судья Ефим Крестник – Эйпельбаум уверил его, что теперь все снова живут по сталинской конституции. Тогда воодушевленный служитель Фемиды отправил пару сотен человек на Колыму. Вагон с умирающими от страха заключенными прибыл в полуразрушенный колымский лагерь. Но вскоре осужденных вывезли оттуда, поскольку бараки пришли в негодность. Правда, старый конвоир, который жил неподалеку, увидев заключенных, просиял и пообещал, что будет их «сторожить и п... дить». Но ему не поверили – очень был дряхл и почти слеп. Так вот: даже судья Ефим Крестник, которого на три месяца отстранили от должности, не держит на Эйпельбаума зла.

Не тревожьте тайну исчезнувшей жизни

Каждое утро, когда мы собирались за завтраком, я внимательно и мучительно вглядывался в коллег, пытаюсь понять, в силах ли они помочь мне выполнить государственный заказ: развенчать по всем пунктам Натана Эйпельбаума, который до сих пор, даже будучи покойником, вносит смуту в души наших сограждан. Некоторые, как, например, отец Паисий, были мне навязаны: так священник был включен в состав редколлегии. Отца Паисия я избрал из шести кандидатов скорее интуитивно, чем с помощью разума.

Меня волновало, что в нашем коллективе собрались сплошь холерики, и только флегматик-политолог вносил эмоциональное разнообразие в нашу взнервленную команду. Его голос был негромок, речь неспешна, движения значительны. Он поглядывал на коллег сквозь солидные роговые очки с насмешливой снисходительностью. Тих и скрытен был историк журналистики. Но по его скупым репликам и осторожным жестам я догадывался, что и он психически нестабилен. Как получилось, что я набрал такой коллектив? Быть может, виновато время – судорожное и тревожное?

От размышлений меня отвлек шепот батюшки в мое левое ухо: «Богослов-то наш умопомрачился». Я прислушался: богослов утверждал, что чучело оказывает незримое влияние на нашу работу: «Енот обращается ко мне все чаще и нахальней...»

Всей редколлекцией мы принялись убеждать теолога: мертвый енот бессловесен и неподвижен. Но по прошествии нескольких неврастенических дней не только богослов, но и батюшка с астрофизиком стали подозревать подвох в неподвижности и бессловесности енота. Они даже квалифицировали безучастность енота ко всему происходящему как провокационное поведение (!).

Я понял, что надо срочно принимать структурообразующие решения, иначе энтропия и Натан растерзают нас.

– Предлагаю разделить Эйпельбаума на составляющие. Вернее, разделить сферы его деятельности на сексуальную и социальную и подвергнуть их анализу как отдельно, так и в динамическом взаимодействии.

– Предлагаю начать с истоков, то есть с отца и матери, – поддержал меня психолог.

– Натан категорически против, – нехорошо улыбаясь, заявил богослов. – Он не считает детство сколько-нибудь достоверным источником знаний о человеке.

– С каких это пор объект исследования руководит исследованиями? – возмутился я. – Или в богословии так принято?

– Значение детства переоценено: в этом я с Эйпельбаумом совершенно согласен, – богослов протянул психологу дневник Натана, где заранее коварно выделил красным цветом крупный фрагмент.

– То есть, – каменным тоном произнес психолог, – вы настаиваете, чтобы именно я зачитал вслух антинаучную белиберду?

– Мы изучаем не вас, – ласково заметил богослов, у которого, видимо, была такая манера: нежным голоском говорить неприятные вещи, – а Натана Эйпельбаума. Потому давайте не отмахиваться от фактов с порога.

Что нам было делать? Отмахиваться от фактов недостойно ученых. И мы склонились над фрагментом. А богослов, для усиления впечатления, еще и продекламировал слова Натана.

Из дневника Н. Эйпельбаума:

«Мой отец лгал каждую минуту, лгал беспричинно и упоенно. Ложь стала исходным событием моего детства – с нее начинался мой день, ею же и заканчивался. Первые слова, которые я услышал, были слова лжи: в припадке самозабвенного шутовства отец поднял меня в воздух перед гостями и заявил, что у него «родилась прелестная девчонка, Настенька»...

Даже умирая, отец стремился обмануть всех, включая своего старого знакомого раввина, пришедшего с ним попрощаться. Зачем отец наговорил бедному равви столько зловещих небылиц? Зачем предстал перед ним в фантастическом облике, зачем напугал и смутил чистую душу? Это я понял лишь спустя десятилетия. И если когда-нибудь мне доведется умереть (в чем я искренне сомневаюсь), я пойду путем отца. Я не стану пытаться откровенничать (это невозможно), не буду поучать (это пошло) или настаивать на какой-то правде (кто ее знает?). Я считаю себя свободным от идиотской необходимости перед смертью ставить точки и раздавать заветы. И уж точно не стану тратить последние драгоценные минуты на покаяние: как будто передача предсмертных сплетен, именуемая исповедью, может облегчить уход!

Стоя у постели умирающего отца, я ему незримо аплодировал: видимо, предчувствовал, что мне больше не доведется увидеть такой стойкости во лжи, такой священной преданности ей.

Коллеги-психотерапевты, желая разгадать меня, словно я какое-то уравнение, подвергли меня анализу. Они пришли к выводу, что фигура врущего отца породила во мне могучую волю к правде, дорогу к которой я пробивал путем лжи. Тем самым, уверяют они, я подражал отцу и отрицал его, бесконечно совершая символическое отцеубийство и отцевоскрешение. Что тут сказать? Из психотерапевтов получились бы неплохие фантасты, если бы они наконец научились писать. Также они считают, что на мою деятельность в качестве пропагандиста семейных и антисемейных ценностей повлияло умение моих родителей сохранять внешнюю благопристойность супружеской жизни при беспрецедентном количестве любовных связей. Я же не вижу в их полигамии ничего особенного и считаю, что с моих родителей берет пример весь мир, правда, не всегда успешно. «Так не их ли идеальный образец породил в вас желание с равным рвением охранять как распутство, так и целомудрие?» – спрашивали меня коллеги. «Бог весть, – неизменно отвечал я. – Пусть Арон и Ривка покоятся с миром, и пусть психоаналитики неуклюжими гипотезами не тревожат тайну их исчезнувшей жизни».

Да и вообще, не пора ли прекратить предаваться фетишизму истоков, которым одержимы все психологи мира? Они давно нуждаются в излечении от пагубного суеверия – мол, главный источник знаний о человеке находится в его детстве.

Семена тыквы и клена так похожи, а что из них вырастает? Вы же видели? Зачем же столь пристально разглядывать и разгадывать семена? Да и наивно думать, что, поняв причину какого-либо явления, мы поймем его смысл и разгадаем цель. Прошу вас – мыслите честнее! Смотрите на явления незамутненным взглядом. И при первой же попытке мыслить по-настоящему вы поймете: этот поразительный процесс вам совершенно недоступен».

«Мой отец лгал каждую минуту, лгал беспричинно и упоенно. Ложь стала исходным событием моего детства – с нее начинался мой день, ею же и заканчивался. Первые слова, которые я услышал, были слова лжи: в припадке самозабвенного шутовства отец поднял меня в воздух перед гостями и заявил, что у него «родилась прелестная девчонка, Настенька»...

Даже умирая, отец стремился обмануть всех, включая своего старого знакомого раввина, пришедшего с ним попроситься. Зачем отец наговорил бедному равви столько зловещих небылиц? Зачем предстал перед ним в фантастическом облике, зачем напугал и смутил чистую душу? Это я понял лишь спустя десятилетия. И если когда-нибудь мне доведется умереть (в чем я искренне сомневаюсь), я пойду путем отца. Я не стану пытаться откровенничать (это невозможно), не буду поучать (это пошло) или настаивать на какой-то правде (кто ее знает?). Я считаю себя свободным от идиотской необходимости перед смертью ставить точки и раздавать заветы. И уж точно не стану тратить последние драгоценные минуты на покаяние: как будто передача предсмертных сплетен, именуемая исповедью, может облегчить уход!

Стоя у постели умирающего отца, я ему незримо аплодировал: видимо, предчувствовал, что мне больше не доведется увидеть такой стойкости во лжи, такой священной преданности ей.

Коллеги-психотерапевты, желая разгадать меня, словно я какое-то уравнение, подвергли меня анализу. Они пришли к выводу, что фигура врущего отца породила во мне могучую волю к правде, дорогу к которой я пробивал путем лжи. Тем самым, уверяют они, я подражал отцу и отрицал его, бесконечно совершая символическое отцеубийство и отцевоскрешение. Что тут сказать? Из психотерапевтов получились бы неплохие фантасты, если бы они наконец научились писать. Также они считают, что на мою деятельность в качестве пропагандиста семейных и антисемейных ценностей повлияло умение моих родителей сохранять внешнюю благопристойность супружеской жизни при беспрецедентном количестве любовных связей. Я же не вижу в их полигамии ничего особенного и считаю, что с моих родителей берет пример весь мир, правда, не всегда успешно. «Так не их ли идеальный образец породил в вас желание с равным рвением охранять как распутство, так и целомудрие?» – спрашивали меня коллеги. «Бог весть, – неизменно отвечал я. – Пусть Арон и Ривка покоятся с миром, и пусть психоаналитики неуклюжими гипотезами не тревожат тайну их исчезнувшей жизни».

Да и вообще, не пора ли прекратить предаваться фетишизму истоков, которым одержимы все психологи мира? Они давно нуждаются в излечении от пагубного суеверия – мол, главный источник знаний о человеке находится в его детстве.

Семена тыквы и клена так похожи, а что из них вырастает? Вы же видели? Зачем же столь пристально разглядывать и разгадывать семена? Да и наивно думать, что, поняв причину какого-либо явления, мы поймем его смысл и разгадаем цель. Прошу вас – мыслите честнее! Смотрите на явления незамутненным взглядом. И при первой же попытке мыслить по-настоящему вы поймете: этот поразительный процесс вам совершенно недоступен».

Последнюю фразу богослов зачитал с неуместным воодушевлением.

– А есть в дневниках Натана хоть что-то, не оскорбляющее нас? – с ехидцей поинтересовался я у сидящего напротив богослова.

– А может, он и не про нас вовсе тут написал, – парировал психолог, уподобив себя той самой корове, которая лучше бы молчала.

– Да не похожи семена клена и тыквы, черт бы побрал этого Натана! – гневно пробасил батюшка.

– Я считаю, – продолжал пользоваться нашей растерянностью теолог, – что Эйпельбаум в целом прав. Если мы будем пытаться объяснить человека исключительно его жизненным опытом, а уж тем более каким-то жалким детством, то останемся с той же загадкой, с которой начинали наш исследовательский путь. Как мы тогда объясним три откровения, снизошедшие на Эйпельбаума? Как объясним явление Канта, огненного ангела и говорящего енота? Надмирное, мои дорогие, надмирное и сакральное останется для нас пустейшим звуком, если мы все сведем к социологии и психологии. Кстати, спасибо, коллега, – обратился он к астрофи-

зику, – что захватили это чучело. Оно – полномочный представитель иных измерений в нашем чрезмерно рассудочном коллективе.

Нас насторожило восхваление чучела богословом, который совсем недавно так боялся енота. Подозрительной показалась нам и научная ненасытность богослова: ведь лишь неделю назад он предлагал отказаться от исследований.

– Считаю своим долгом предупредить, – взял слово политолог, глядя на нас сквозь могучие роговые очки, – первый этап жизни Натана, когда он занялся преобразованиями в сфере семьи и любви, мы должны рассматривать как период созревания политического лидера. Также я считаю, что первая амбивалентная общественная роль Натана – апостола семьи и брака, а также семейного нигилиста, была лишь увертюрой к симфонии, которую я бы назвал «Большая политическая».

После глубокой паузы богослов воскликнул:

– Да не бывает у симфоний увертюры!

– Значит, – невозмутимо ответил политолог, – Назовем это «Большая политическая оратория».

– Полагаете, здесь собралось столько ученых из разных областей, чтобы написать биографию политика? – с усмешкой спросил астрофизик.

– А придется написать именно ее, – с внезапной суровостью отчеканил политолог. – Ведь сейчас все – политика. Потому что ничто – не политика.

Озадачив нас, он царственно замолчал. Но ненадолго:

– Неужели вы не видите, что Эйпельбаум был политическим лидером даже тогда, когда занимался совсем не политикой? Что он сделал в первой, казалось бы, совсем аполитичной части своей жизни? Он предъявил обществу крайние полюсы сексуальности и каждый провозгласил верным. Он балансировал между целомудрием и распутством, между семьей и холостячеством, как умелый политик балансирует между общественными течениями, между левыми и правыми, социалистами и капиталистами – лишь бы удержать власть. И потому, не опасаясь сравнений с попугаем, повторю: именно политическая борьба была и фундаментом, и целью, и причиной действий Эйпельбаума.

Заметив, что коллеги отнюдь не согласны со столь бесцеремонным перетягиванием одеяла наших исследований на себя, он заговорил как дипломат:

– Я довожу свою точку зрения до крайности, чтобы у нас была возможность сойтись посередине. Компромисс – это моя стихия.

Никто ему не поверил, и мы вступили в яростную дискуссию, описать которую не отважится рука даже самого правдолюбивого автора. Стыд охватывает, когда я вспоминаю, сколь далекие от научного лексикона слова мы использовали.

Помню, как, сломленный этой бурей, я закрыл глаза и слушал, как сотрясают воздух вопли: «Травма!» – «Содом!» – «Политика!» – «Богоборчество!» – «Бездарность!» – «Гоморра!» – «Космическая!» – «Аминь!»

Выкрики сопровождался колокольным перезвоном, ведь мы поклялись не срывать с себя колокольчики до конца исследований.

Увы, в трагическом разногласии представляем мы результат нашей работы читателю. Колокольчики звенят, и мы чувствуем, что звенят они по нам, по нашему разуму, столкнувшемуся с непостижимым...

Картина вторая Натан Эйпельбаум – семейный психолог

Трепотня древних евреев

Мы потерпели неудачу сразу же. Я уверял коллег, что в этой неудаче – предзнаменование грядущих побед, ведь такова стезя руководителя: убеждать подчиненных в том, во что сам лишь мечтаешь поверить.

С первого же исследовательского шага мы запутались в мотивах Эйпельбаума. Пытаясь объяснить, почему он то защищал семью и верность, то становился идеологом измены и распутства, мы предлагали десятки версий – психологических, политологических, богословских – и тем самым лишь демонстрировали свою беспомощность.

Мы знали, что Натан менял свое мировоззрение и поведение от удара по голове «люстрой прозрения», от явлений ангела и Канта, от «великих пауз», но когда собирали все события и перемены воедино, это выглядело так нелепо и сиротливо, что мы прятали друг от друга глаза.

– А давайте, – внес предложение богослов, – обратимся к читателю с преамбулой: если описанная нами правда покажется вам неправдоподобной, то просим принять во внимание, что лишь по этому признаку можно отличить правду от лжи в наши суровые дни!

Я отрицательно покачал головой:

– Мы должны выдвинуть версию единую и твердую! А вы предлагаете поверить нам на слово – мол, чем неправдоподобней нами описанное, тем оно реальней! Это же бессилие! Ни на один вопрос мы не даем ответа! Например, почему Натан то открывал свою знаменитую сеть борделей, то разрушал их?

– Разрушал помпезно, с бульдозерами, торжественным салютом, с обоснованиями и прокламациями... – поддержал меня батюшка, восхищаясь савонарольскими деяниями Натана.

– Прокламациями, – подхватил я, – которые заучивали наизусть сотни людей, тысячи людей, а потом и сотни тысяч? Как вы объясните феномен массовой истерии вокруг сексуально-любовной деятельности Натана?

– У меня есть ответ, – включился политолог. – Полагаю, что истерия вокруг Натана возникла на фоне полной кастрации политической жизни. Всю социальную энергию, жажду дискуссии и борьбу идей наши граждане перенесли в область интимных отношений. Потому...

– Скупо! – печалился я. – Не охватывает масштаб явления, не представляет его во всей полноте...

Этой ночью мы ложились спать молчаливо, стараясь друг на друга даже не смотреть, не то что обмениваться гипотезами.

* * *

Не скрою, я проворочался всю ночь. Я почти совершенно убедился, что с группой эксцентриков мне не удастся провести объективные исследования, тем более что надо мной довлел политический заказ, выполнить который и не погрешить против истины было бы крайне сложно даже с самыми изворотливыми союзниками, а уж с этими...

Заснул я на рассвете, но утром снова был свеж (возможно, даже румян) и исполнен уверенности в грядущей научной победе.

За завтраком я обратился к коллегам:

– Предлагаю подбираться к корням, начиная от кроны, спуститься по стволу, и лишь после этого забираться в глубину, во тьму. Так иногда бывает с исследованиями: сначала ты анализируешь последствия явления, и потом, поняв их, обращаешься к истоку.

– Что все это значит? – нетерпеливо спросил отец Паисий.

– Первый период жизни Натана я предлагаю оставить, так сказать, на исследовательский десерт.

– Чтобы не предаваться «фетишизму истоков»? – поддел меня психолог цитатой из Натана, но я уже выводил наш корабль из гавани, и меня не могли поколебать жалкие дуновения ветерка.

– Считаю ваше решение великолепным! – поддержал меня политолог.

– Понимаю вашу радость, – обратился к политологу психолог. – Что мы, минуя первую, я бы сказал, мне принадлежащую часть жизни Эйпельбаума, его деяния на ниве любви и брака, переходим сразу к вашей части. Жаль, что у вас не хватило великодушия скрыть свое ликование.

Очки политолога возмущенно сверкнули.

– Споры это прекрасно, – остановил я коллег. – Надеюсь, в них родится истина. Но позже.

Меня прервал свист чайника: я до сих пор не выношу электрических и предпочитаю стальные, люблю, чтобы чайник свистел и трезвонил, оповещая, что вода готова превратить заварку в ароматный чай, а молотый кофе – в бодрящий напиток. Я уходил на кухню с горьким предчувствием, которое меня не обмануло. Вернувшись с липовым чаем, я застал одну из самых жарких дискуссий: коллеги обсуждали посмертную судьбу Натана. (Так – возможно, издевательски – они восприняли мой совет идти нетривиальным исследовательским путем: от финала к истоку...)

Астрофизик вскочил со стула и закричал: «Хватит уже! Нет ни рая, ни ада – все это трепотня древних евреев!» Он покосился на отца Паисия, а тот вдруг согласился: «А ведь правда!»

Богослов глухо хихикнул, а я осторожно напомнил батюшке, какая профессия приносит ему доход. Он временно остепенился, но продолжал смотреть на нас блуждающим и воспаленным взглядом: похоже, астрофизик пробудил в отце Паисии угасшие экзистенциальные бури. Психолог помешивал чай, поглядывая на батюшку взглядом опытного диагноста.

– Я нашел в архиве Эйпельбаума незавершенную рукопись его биографии, созданную неким Крамарником, – обратился к нам профессор филологии, сердито поглядывая на ложечку психолога, постукивающую о чашку. – Оценить рукопись по достоинству трудно, поскольку автор не смог ее завершить.

– Почему же? – спросил я, предчувствуя, что ответ меня не порадует.

– В процессе изучения жизненного пути Натана Крамарник повредился умом. По пути в лечебницу он уверял угрюмых санитаров, что смысл жизни в радости, которая невозможна без свободы. Говорят, Крамарник до сих пор не излечился, но при этом совершенно счастлив. Однако...

– То есть, – перебил я филолога, – вы хотите процитировать труд сошедшего с ума исследователя?

– Исследователя досумасшедшего периода, – филолог, схватив психолога за руку, властно приостановил помешивание чая. – Мне кажется, – собрав бородку в кулак, ядовито заметил он, – все, что можно было размешать, размешано. Позвольте зачитать?

Я недоуменно пожал плечами; то же самое сделали члены редколлегии. Филолог воспринял это как одобрение.

– Там есть интересные мысли, касающиеся загадки, с которой мы столкнулись: как объяснить кардинальные перемены, происходившие с Эйпельбаумом? Как объяснить, что он мог

мгновенно оставить все, чему поклонялся и чему учил, и с лютым энтузиазмом направиться в противоположную сторону? У меня, конечно, есть своя гипотеза. А вот версия Крамарника:

«Происходящие с Натаном перемены невозможно понять, если не учитывать «великих пауз Эйпельбаума». Так я предлагаю называть мгновения, минуты и часы, когда Натан словно исчезал для мира и возвращался неизвестно откуда обновленным и просветленным. Он оглядывался вокруг недоуменным взглядом, который напоминал взгляд новорожденного своим изумлением и чистотой, и доставал из кармана заранее заготовленную бумажку, где его рукой было написано, кто он: имя, фамилия и род занятий на момент, предшествовавший «великой паузе». Обычно Натан оставался крайне недоволен прочитанным, тяжело вздыхал и приступал к своим, как он говорил, «метафизическим кувирканиям».

«Метафизические кувиркания» произвели тяжкое впечатление на наш коллектив. Вернее, как-то болезненно его взбудрили, и мои коллеги принялись «метафизически кувиркаться» – выдвигать гипотезы, совсем уже выходящие за рамки здравого смысла. Цитировать я их не стану.

Я вынес окончательное решение: поскольку все наши предположения, собранные в первую главу исследований, никуда не годятся, то и публиковать мы их не будем. Запрет в сейф (я решительно собрал все находящиеся на столе черновики) и оставим их там – для тех ученых, которые будут исследовать уже нас. Как я и предполагал, моим коллегам такое предположение польстило, и они величаво застыли, словно позируя будущим скульпторам. Лишь психолог егзил на своем стуле, уязвленный, что мы игнорируем его научные интересы.

Ох эти ученые. Чистые дети.

Угостив всех йогуртом с мюслиями, я повел наше заседание к долгожданному финалу:

– Итак. Мы начинаем с момента, когда Натан – внезапно и необъяснимо – прекратил свою деятельность на ниве любовных отношений, и впал, по его словам, «в духовный паралич».

– Крамарник, которому я в этом случае склонен верить... – перехватил инициативу неутомимый психолог и обратился к филологу: – Да-да, и я читал его незавершенный труд. Так вот, он называет этот период в жизни Натана «эпохой тьмы и страдания, длившейся вплоть до появления чудесного енота». Вот, смотрите, – и психолог зачитал нам цитату из исследования Крамарника:

«Порой Натана видели в гастрономе: погруженный в себя, ничего не замечающий, кроме своей авоськи, стоял он в очереди в кассу посреди простого народа. Порой он замирал, мешая продвижению вперед и вызывая гнев позади стоящих. Его щетина была пятидневной, перешла в шестидневную, стала двухнедельной, после чего превратилась в бороду. Вскоре Натана стали замечать курящим у подъезда в несвежем домашнем халате. Он неуверенно улыбался соседям, никого не узнавая...»

– Пьянь, – брякнул отец Паисий.

– «Природа страдания нам неизвестна», – сердито продолжал психолог.

– Ох ты ж господи! – покачал головой батюшка. – Природа страдания!

– От меня, как и от Крамарника, – продолжал психолог, – не ускользнуло, с какой ненавязчивой настойчивостью в дневниках этого периода Натан намекает, что травма нанесена женщиной. Я полагаю, что именно эта травма и заставляла Эйпельбаума вести себя самым отчаянным образом, так, будто инстинкт самосохранения у него полностью атрофирован.

– Я лично не верю, что несчастная любовь могла перекорезить могучий и увертливый дух Натана, что она явилась причиной всех его деяний, – произнес я на сей раз мягко, пытаясь не обидеть психолога. – Такого же творческого и научного скептицизма я жду от всех вас.

– Чай, Натан не француз какой-то, – резонно заметил отец Паисий. – Это у них все в штанах начинается и там же заканчивается. Тут другое... Тут тоска высшая, тут высота невзятая...

У отца Паисия, как я заметил, была такая особенность: он вслушивался в звучание своих слов, будто мог по достоинству оценить их только после произнесения. Так, прослушав собственную тираду, батюшка возмутился:

– Не надо сочинять! Где просто, там ангелов дó ста, где мудрено – там ни одного! Запойный был ваш Натан! Вот и все паузы, вот и все перемены, вот и все загадки! За-пой-ный!

– Одно несомненно, – продолжал я, демонстративно игнорируя батюшку. – Не будь «страдания, природа которого нам неизвестна», Натан не сделал бы единственного за тот период публичного заявления: о намерении принять буддизм. Поскольку Эйпельбаум к тому времени уже был знаменит, его решение в буддийских кругах восприняли благосклонно.

– Поразительная правда! – вклинился богослов. – И это требует отдельного...

Я прервал богослова. Не позволив нам снова уйти в пустопорожние дискуссии, я распределил исследовательские роли: психолог нес ответственность за реконструкцию чувств и мыслей Эйпельбаума, филолог отвечал за стиль, богослов и батюшка – за мистическое и надмирное, историк журналистки – за все, что касается его сферы, а от политолога мы ждали общественно-политического анализа. На плечи астрофизика ложилась финальная часть нашей работы: когда мы, разделившись с «преступной многоликостью Натана» (определение батюшки), приступим к исследованию его космической эпопеи.

– С Богом! – перекрестил каждого из нас отец Паисий, трижды осенил крестом себя, и бурная река науки понесла нас в океан...

Картина третья Натан Эйпельбаум спасает Россию

Явление енота

10 апреля к Натану Эйпельбауму вместе с посланием далай-ламы прибыл гималайский енот по имени Тугрик.

Письмо далай-ламы было исполнено надежды на благоденствие Натана в лоне великой религии, а енот внес в душу Эйпельбаума умиротворение. Весь день он радовал Натана, вставая на задние лапки и умильно выпрашивая орешки. На сердце Натана становилось все светлее. Быть может, оно предчувствовало, что Тугрик станет другом Натана до самого конца его беспокойных дней. Но сейчас, скармливая еноту орешки, Эйпельбаум этого предположить не мог.

Тугрик оказался смышленным зверьком: он заметил, сколь горькие дни переживает Натан, и потому с усердием производил смешные глупости и забавные нелепости.

Все изменилось, когда часы пробили двенадцать.

Шерсть на еноте вздыбилась, глазки сверкнули решительно и сурово. Форточка с треском распахнулась, и в комнату ворвался холодный предгрозовый ветер. Енот лапкой успокоил стихию, и гроза отступила. Он забрался в соседнее с Натаном кресло, обрел величественность и степенно наполнил стопку водкой.

– За истинный союз еврея и енота! – вознес Тугрик рюмку над ликующей мордочкой. – Ну что? Спасем гармонию?

Не дожидаясь ответа, Тугрик распахнул пасть и лихо опрокинул в нее стопку. Уткнулся носом в хвост, и смачно, глубоко втянул воздух черными ноздрями.

– А тебе вот так сделать не дано, – енот откинулся в кресле, заложил лапки за голову и поглядел на Эйпельбаума чрезвычайно миролюбиво.

Натан не был ни потрясен, ни ошарашен: как-никак ему доводилось встречаться с ангелом и с Кантом. Потому явление говорящего енота не могло поколебать основ мировоззрения Эйпельбаума; не могло и напугать. Натан чувствовал нечто вроде досады: появление в его жизни очередной inferнальной сущности знаменовало крупные перемены. А для перемен нужны силы, которых сейчас у него не было. Эйпельбаум утомленно закрыл глаза.

– Не поможет, – то ли с сочувствием, то ли с иронией заявил енот. – Думаешь, ты галлюцинируешь? Я угадал? Да?

Натан прекрасно понимал: болтливый енот не галлюцинация, а самая кондовая реальность. А Тугрик, глядя на решительно закрывшего глаза Натана, оскорбился.

– Ага! Я понял! – ушки енота обиженно задрожали, и вслед за ними задрожал от обиды весь Тугрик. – Ты думаешь: как же пошло я стал галлюцинировать! Да? Как низко пало мое воображение! Да? Конечно, я не Кант тебе! Возможно, я даже не ангел, я и это допускаю! – Тугрик успокоился так же внезапно, как расвирепел, и заговорил с некоторой фамильярностью: – Друг мой! Тебе очень повезло, что пришел именно я! Знаешь, порой откровения приходят через таких жутких существ! В таких непристойных пространствах, в таких похабных обстоятельствах! Даже если мы с тобой сейчас крепко выпьем, мне не хватит бесстыдства о подобных явлениях тебе рассказать! И не проси, Нати...

Тираду енота прервал треск будильника. Тугрик от неожиданности подскочил и опасно обернулся: часы показывали половину первого.

– Зачем тебе ночной будильник? – обратился он к Натану недоуменную мордочку, и Эйпельбаум вступил с ним в диалог, что стало его первой магической ошибкой.

– Напоминает, что спать пора.

Тугрик прикрыл глазки и левой лапкой посчитал пульс на правой. Убедившись, что инфаркт от возмущения его миновал, енот заговорил быстро и сердито:

– Спать?! Тебе пора спать?! Ты невероятный! Ты, а не я! Ты что, сейчас побредешь к кровати? В этих жутких тапочках? И заснешь? И захрапишь?! Натан!..

Эйпельбаум вздохнул. Был в этом вздохе элемент тоскливой самокритики, но энергии по-прежнему не было.

– Все у тебя шиворот-навыворот, все с ног на голову! – глазки енота возмущенно сверлили Натана, не теряя при этом огненного любопытства. – Будильник у тебя звонит, чтоб напомнить: пора спать! Где такое видано?

Эйпельбаум почти не слушал Тугрика. С неуместной и какой-то горькой нежностью он поглаживал скатерть. Проницательный енот угадал подтекст этого жеста: Натан вспоминал прикосновения к утраченной возлюбленной. Или делал вид, что вспоминает? Но зачем устраивать спектакли перед зверем? Резким движением енот прервал поглаживание скатерти, и Эйпельбаум почувствовал, какая мощь заключена в лапках Тугрика. Натан собрал всю силу воли, иссякающей под нажимом енота, и произнес:

– Я не готов. Я слишком... – кажется, он хотел сказать «страдаю», но все же не стал изливать душу перед первым встречным енотом.

Тугрик вознес к люстре невнятную, но свирепую молитву. Подскочил к холодильнику, достал банку маринованных томатов и метнулся вместе с ней обратно к столу, возмущенно бормоча: «Не готов он... Он не готов!»

– Я снова должен выпить, – объявил енот, – а то ведь ты... Наваждение, а не человек! Эй! Я чудо! Понимаешь? Чу-до.

Эйпельбаум кивнул. С прискорбием.

Енот выпил. В одиночку.

– Знаешь... – Натан хотел начать издали и вежливо, но понял, что и на это у него нет эмоциональных сил. – Давай ты пока... Давай ты помолчишь недельку хотя бы? И посидишь вон там?

Натан указал в угол кухни. Енот обернулся, увидел пустую коробку из-под телевизора и перевел взгляд на указательный палец Эйпельбаума.

– Благодарю Будду, что я сейчас не вполне енот. А то бы я вцепился в твой обнаглевший палец!

– Кусай, – Натан смиренно поднес палец к пасти Тугрика.

– Хорошо, Натан, – улыбка енота стала коварно-сладкой. – Иди и спи. Только смотри сны повнимательней. Может, что важное увидишь. А я и правда...

И енот, махнув пятьдесят грамм и закинув в пасть три помидора черри, юркнул в коробку.

Натан, облегченно вздохнув, перекрестился, но вспомнил, что никогда не был христианином. Поднял взгляд на «люстру прозрения». От нее помощи ждать не приходилось, да и в прошлый раз озарение слишком дорого далось Натану. перевел взгляд на письмо далай-ламы, лежащее на столе, и самоназидательно произнес четыре благородных истины, которые запомнил наизусть: «Существует страдание. Существует причина страдания – желание. Существует прекращение страдания – нирвана. Существует путь, ведущий к прекращению страдания – великий восьмеричный путь».

Произнеся четыре истины, Эйпельбаум затосковал так глубоко, так по-русски, что руки сами потянулись к водке.

– А я ведь тоже не буддист теперь, – раздался из коробки приглушенный голос енота. – Знаешь, каким безмятежным я был в Гималаях? Я ведь там не мог разговаривать... Потому что

не видел в этом смысла, – поспешно добавил Тугрик. – Там не умел говорить, а здесь замолчать не могу. И мыслю, мыслю, мыслю... Неудержимо!

Он высунул из коробки нетерпеливую мордочку.

– Кто виноват? Что делать? Когда я был буддистом, я отвечал на эти вопросы однозначно: никто и ничего. Но сейчас! Здесь! В Москве! В России! – усики Тугрика вдохновенно задрожали. – Я исполнился таким беспокойством, такой всемирной отзывчивостью, такой верой в невозможное! Исполнишься и ты, а? Мы! Мы с тобой! – Енот выпрыгнул из коробки и вскочил на стол, разбив две тарелки. – Мы разыщем ответы! И начнем действовать! О, как мы начнем действовать – задрожит земля! Я желаю деяний, а не созерцаний! Страстно желаю. И пусть прахом идут четыре благородные истины! И восьмеричный путь туда же! Отрекаюсь! – и енот сделал лапкой величественный отвергающий жест, словно кто-то незримый предлагал ему корону.

– Н-дааа, – протянул Натан. – Удружил далай-лама... Слезь-ка со стола. Ну пожалуйста! Чего ты хочешь?

Енот начал спуск на пол. Натану показалось, что Тугрик намеренно сделался адски неуклюжим: передними лапками держался за краешек стола, а задними, не достающими до пола, беспомощно сучил в воздухе. Эйпельбаум – а что ему оставалось? – нехотя помог еноту. (Стоит ли говорить, что это была его очередная мистическая ошибка?)

Тугрик встал напротив Эйпельбаума и возвестил:

– Ты оставил достаточный след в истории мирового секса, Натан. Пришла пора оставить след в истории отечества.

Енот вдруг обнял Эйпельбаума за ноги и прошептал, уткнувшись в его колени:

– Я как приехал сюда, как только границу пересек, так меня всего будто холодом обдало, потом в жар бросило, и чувствую, кожей и даже шерстью чувствую – горе, горе по всей этой земле, горе и несправедливость... И края нет – ни этой стране, ни ее страданию...

Эйпельбаум прикрыл рукой глаза: закрытых век уже было недостаточно.

– Спаси Россию, Натан.

Вяло улыбнувшись, Эйпельбаум отнял руки от глаз и погладил Тугрика.

– О чем ты? Я аполитичен и асоциален.

– А может быть, ленив и трусоват? – вскричал енот. – Прислушайся ко мне, Натан. Через меня к тебе взывает Россия.

– Ты обалдел? Ты же енот!

– Гималайский енот, – с достоинством ответил Тугрик.

– Енот с манией величия, – Натан втягивался в спор с енотом, и его сердце билось все тревожней.

– Допустим, – с достоинством ответил Тугрик и по-наполеоновски сложил лапки, демонстрируя самоиронию, а также познания в области истории. Постояв так под изумленным взглядом Эйпельбаума, Тугрик вновь – доверчиво и крепко – обнял его ноги и услышал вопрос:

– С какой стати Россия будет через тебя взывать? – Натан совершенно не желал обидеть енота; напротив, он брал Тугрика в союзники, предлагая ему вместе посмеяться над нелепостью ситуации.

– А ты не решай за Россию, – обиделся Тугрик, – через кого ей взывать и к кому.

– Через енота к еврею? Плохи же у нее дела.

Тугрик прекратил обнимать ноги Эйпельбаума и с демонстративной брезгливостью вытер лапки о шерстку.

– Мелко плаваешь, Натан! Не твой уровень, не твой масштаб. Какие-то бесконечные браки, семьи... Полигамия, моногамия, целомудрие, распутство... Скука! Бери шире. Целься выше.

Часы показывали три ночи. Тугрик с энтузиазмом правозащитника взывал к Натану, не позволяя задремать ни ему самому, ни его гражданской совести. Енот добился своего:

совесть Натана заболела. Боль, страх и отчаяние сограждан тысячами нитей протянулись к его сердцу...

Тугрик не удивился парадоксу, а воспринял его как должное: как только в Эйпельбауме начало пробуждаться гражданское самосознание, сам Эйпельбаум заснул.

Енот бережно уложил его на кровать, благо, она стояла совсем рядом: Эйпельбаум в последнее время жил, вяло перемещаясь от столика к кровати, от кровати к уборной и обратно.

Таков был бермудский треугольник страдающего Натана.

Енот-ты-либерал!

Пока Эйпельбаум спит, а Тугрик смотрит на него исполненным надежды взглядом, поспешим сделать важное замечание.

Появление говорящего енота в жизни Эйпельбаума привело не только к тому, что Натан встал на поприще политической деятельности. С той поры Эйпельбаум принимал как должное, что с ним вступали в диалог якобы неодушевленные предметы и мнимо бессловесные животные. Пантеистический период в жизни Натана не прекращался до его смертного часа.

Вернемся на кухню, она же спальня Натана (а теперь и Тугрика). Благодаря тихо и неутомимо болтающему еноту, сидевшему в изголовье кровати, Натан не увидел, а услышал сон.

К Эйпельбауму обращался колоссальный страдающий хор.

Скорбные голоса молили о спасении – от имперской болезни и проклятия либерализма, недуга пацифизма и наваждения милитаризма. Эгоистичные и сварливые, наивные и глупые, умные и циничные, зывали они к нему, и Натан чувствовал, что все они глубоко несчастны. Особенно мучительно звучали самые слабые голоса, принадлежащие еще не рожденным: они отказывались появляться на свет в России. «Сгубимся в зародыше», – мрачно клялись они и затихали, давая Натану прислушаться к биению их еще не существующих сердец.

Натан, покрытый каплями пота, открыл глаза и увидел благородного енота. Тот участливо спросил:

– Что? Что?

– Воды...

Енот вихрем понесся к крану и вернулся к постели с кружкой пенящейся холодной воды. Натан припал к ней.

– Что? Ну что?! – терял терпение енот.

– Полный кошмар, что, – отдышался наконец Натан. – Ну невозможно слушать одновременно либералов и консерваторов! Про милитаристов и пацифистов я уже не заикаюсь...

Тугрик сделал вид, что не понимает, о чем говорит Натан. Так Эйпельбаум узнал, что Тугрик способен невинно хлопать ресничками, уподобляясь персонажу мультфильма – Натан не мог вспомнить, какого именно.

– Всего тяжелее детские стоны, – Натан прикрыл уши, словно они все еще звучали. – Детям-то за что такая мука, Тугрик?

– Вот ради них, ради них... – гипнотизировал енот Натана.

Натан жадно пил, он хотел еще что-то рассказать еноту, но не успел. Его уволокло в сон; и снова шепот, крик и возмущение, и снова мольбы и требования, бесконечность ожидания и безграничность отчаяния...

Пригрезилось ему, что он спускается в ад, видит Орфея и прозрачную Эвридику; видит черное лицо Медеи – она склоняется над трупами своих детей...

Усилием воли Натан перенесся из чуждой эпохи. Вновь зазвучали на русском печальные голоса современников. Натан приветствовал их скорбной улыбкой, чувствуя, как бережно гладит Тугрик его голову...

Эйпельбаум проснулся ранним утром.

Он все яснее чувствовал как величие задачи, так и желание от нее ускользнуть.

– Но если все-таки... – бормотал Натан, надевая тапки, осмеянные ночью Тугриком, – если все-таки попытаться... Ради детей, как сказал мой дружок... Но с чего начать? И как начать?

Разыскивая ответы, Эйпельбаум приоткрыл коробку с енотом. Тугрик мирно спал. Вежливо отвернувшись, Натан постучал в стенку коробки, и енот приподнял сонную мордочку.

– Бокер тов! – поприветствовал Тугрика Эйпельбаум. – Я, кажется, почти готов... Вы вчера меня перепыхали! Продолжим пахоту, господин енот?

Мордочка Тугрика выражала удивление: какие могут быть разговоры с бессловесной тварью? «Если это издевательство, то чрезмерно изощренное: из-за принадлежности к миру животных я не смогу его оценить». – Ничего не выдавало в милейшем зверьке политического активиста. Не было в заспанном еноте ничего от революционера со скверным характером.

День Эйпельбаума и енота был исполнен непонимания: Натан требовал диалога, енот поедая орехи; Натан коварно умолкал и внезапно заговаривал, пытаясь заставить животное врасплох, но хитрость терпела крах. Ближе к вечеру, пытаясь забраться на карниз, Тугрик порвал занавеску и рухнул на пол. (*Примечание редакции: Так вот следы чьих цепких лапок мы заметили, когда пришли к Натану!*)

Своим падением енот остался крайне недоволен: он обиженно заскулил с пола на непокоренный карниз, но утешился очищенной морковью. Проглотив ее, он продолжил громить дом Натана. Словом, Тугрик вел себя, как и положено хулиганистому животному.

Поскольку вещей сон терял власть, а чудесный енот утратил дар речи, к Натану стало возвращаться страдание. Он лег в постель; энергия покидала его, он погружался в бесчувствие ко всему, включая детские крики о помощи...

Едва пробило двенадцать, Тугрик вспрыгнул на стол и воскликнул:

– О речь моя! Ты не приснилась мне!

Обретение Тугриком дара речи Натан встретил с восторгом, хотя был слегка обижен.

Енот сел за стол и деловито налил себе и Эйпельбауму по стопке водки.

– Ты прям как маленький, Нати. Ну как я могу разговаривать днем?

– Верно! – радостно согласился Натан, и начался их философский пир: а разве застолье с енотом может проходить как-то иначе?

Натан был искренен и простодушен. Он предстал перед Тугриком обычным человеком, переживающим кризис среднего возраста. Енот, подозревая Натана в притворстве, выстукивал задней лапкой по полу ритм неведомого пока гимна. Тугрик надеялся на алкоголь, который рассеет чары притворства. Он поглядел на бутылку водки и восславил ее:

– Представь себе мир, лишенный алкоголя...

– Это какой-то... Какой-то ад, – Натан поддержал енота улыбкой.

– Именно! Сколько великих идей породили алкогольные пары? Сколько дерзких революционных замыслов так и остались бы невоплощенными, не будь у человечества спиртного? А сколько счастливых любовных союзов завязалось по пьяни? А без алкоголя шанс был бы навсегда упущен. Все потому, что водка делает нас родными. Пока она – в нас. И начинается восхитительная, а порой и возмутительная откровенность. Итак, приступаем! Буль-буль-буль! – возвестил енот, и они начали эпохальный заплыв.

Через полчаса, любуясь сквозь пустую бутылку водки енотом, создающим «Кровавую Мэри», Натан заявил:

– Тугрик, благодаря сну я узнал, как себя чувствует Бог, к которому миллионы людей возносят миллиарды просьб...

Они выпили «Мэри» и закусили укропом.

– И как же себя чувствует Бог? – участливо поинтересовался Тугрик, смахивая салфеточкой с усов капли томатного сока.

– Хреново он себя чувствует.

– Кто бы мог подумать, а?

– А знаешь, что я сейчас чувствую?

– Откуда же мне знать? Что я тебе, енот-телепат? Чудес не бывает, Нати.

– Я чувствую сострадание к Богу.

От изумления Тугрик чуть не расплескал собственноручно изготовленный коктейль.

– Ну ты!.. Гордыня в тебе – размером с Гималаи! И это хорошо. Иначе не справишься.

Через час енот уже сидел у Натана на коленях и нежно обмахивал его лицо хвостом.

Эйпельбаум уворачивался и от хвоста, и от возлагаемой на него миссии. Енот витийствовал:

– Будучи семейным психологом, ты прекрасно угадывал сбивчивый вектор сексуальных предпочтений в обществе, – делился наблюдениями за Натаном политический аналитик Тугрик, и на его черном носу сверкнули солидные роговые очки. Сверкнули и пропали, но Натана уже ничего не изумляло. Его коленям было тепло. – Ты умело угождал всем крайностям и тенденциям. Тебе не составит труда перенести этот стиль управления людьми и их желаниями на политическую деятельность. Не забывай, Нати, сколько у тебя осталось последователей, брошенных и страдающих сирот. Ты же не станешь ими разбрасываться?

– Каких еще сирот, Тугрик... Я бездетен как в самом банальном, так и в высоком смысле...

– Ой ли?

Енот спустился на пол, подбежал к кухонной стене, тихонько, но требовательно взвыл, и обои истлели, а стена стала ослепительно-белой. Первозданной стала она. Тугрик прикоснулся к стене хвостом, и на ней, как на киноэкране, засияли эпизоды славных деяний Натана.

Вот Эйпельбаум в церкви. Свяжав отца Паисия и переодевшись в его рясу, возвестил он с амвона изумленным прихожанам, что освобождает их от семейных уз. Натан (настенный) неторопливо оглядел иконы, перевел взгляд на притихшую паству, прислушался к потрескиванию восковых свечей и приступил к проповеди: «И что ты смотришь на сестру свою с вождением? Почему только смотришь? – вопрошал Натан настенный у енота и Натана застольного. Тугрик взвизгивал от хохота, и, восхищаясь Натановыми проделками, показывал Эйпельбауму большой палец. – Или не ведаешь, что сила твоя недолговечна, а дни – сочтены? Всякий, кто смотрит, должен и познать», – проповедовал со стены Натан.

– Как тебе морду-то не набили? – восхитился енот. – А, прости, я забыл... Набили... Но не сразу! Дали высказаться...

Натан продолжал проповедовать со стены: «Братья и сестры! Помните ли вы, что апостол Петр отрекся трижды за одну ночь, а любил он – Иисуса! Чего же ждете от себя вы, бесконечно далекие от Петра и его святости, любящие простых смертных?! Отречение от любимых должно стать вашим вечным спутником. Иначе не может быть: таков закон Божий. Таким уж Он создал этот трагикомический мир».

– Вот тут ты прав, наш мир трагикомичен, – енот вздохнул и схватился лапками за голени застольного Натана, намереваясь снова угнездиться у него на коленях. Это удалось еноту не без труда, и он воззрился на настенного Эйпельбаума, который не унимался: «Так что же лучше, братья: спермотоксикоз или спермодонорство? – обратился он к мужичкам, собравшимся вокруг дерзновенного лжебатюшки. – Вопрос нелепый, тем более в стране с острейшим дефицитом здоровой спермы, где каждый мужчина мнит себя Дон Жуаном, а на проверку оказывается профессиональным онанистом, и не более».

– Нати! – погрозил пальчиком енот, всласть перед этим похихикав. – Зачем шалил? Зачем переодевался в чужое? Пришла пора, Нати, одеться в свое. Но надо признать, что ты оставил выдающийся след и в распутниках, и в адептах целомудрия! Оставил!

– Ладно, все это пустое... – тихо, стыдливо возразил Натан. – Дела давно минувших лет...

– Я знаю про тебя все и даже больше, – прищурился хмелеющий енот, взмахами хвоста создавая новые картины на стене, и Эйпельбаум вновь переживал то постыдные, то триумфальные эпизоды своей жизни (частенько они полностью совпадали).

Енот махнул хвостом, и настенный Натан, исполненный аскезы и смирения, являющий собой покорность Божьей воле, принялся читать вслух отрывки из своей книги «Взаимосвязь любви и веры». Тугрик протянул руку к настенному Натану, и тот послушно передал еноту книжку. Енот начал жадно перелистывать страницы.

– Как это все любопытно! Даже предисловие интересное, хотя обычно эти филологические бредни никому не нужны! – Тугрик торжественно зачитал: – Эйпельбаум основывал чувство единственности избранника (или избранницы) на чувстве единого Бога: «Тот, чье сердце знает, что мир сотворен Господом, для того есть лишь один путь: выбрать единственного (единственную) и создать семью, разрушимую только смертью»... – Енот остановил чтение. – Все люди, Нати, которые читали и почитали тебя, ждут твоего нового слова, все сироты ждут твоего возвращения к отцовству, – Тугрик снова погрузил нос в книжку. – Крах института семьи Эйпельбаум связывал с утратой людьми религиозного чувства: «Пока все не уверуют, институт семьи будет лежать в руинах. Что за любовь у неверующего? Лишь поиск наслаждений и удобств, лишь тщетная надежда, что кто-то избавит тебя от тьмы в твоей душе. Люди боготворят мгновение и не верят в вечность; они не желают собрать свои разрозненные дни в судьбу».

Енот налил себе рюмочку, но передумал пить, наткнувшись на следующие строки: «Неверующий в Бога обречен считать, что его женщина – случайный набор хромосом, случайно встретившийся с ним в бессмысленном потоке жизни. И только верующий способен сделать случай законом и противостоять раздробленности бытия. Только его «Я» не рассыплется в песок мгновений».

– Ты полагаешь, Нати? – енот внимательно всмотрелся в аннотацию книги на обложке, и захохотал так, что слезки брызнули из глаз его прямо в книгу, и запотели стеклышки на внезапных очках его: – А вот это что такое тут сообщено? А? – и Тугрик зачитал аннотацию вслух: – «Вы можете скачать на свой айпад приложение к этой книге. Приложение ироническое, но светоносное: «Как уверовать в бытие Божие, пока вам несут десерт»... Шутишь, Нати? С божественным шутишь, да?

Натан застольный усмехнулся: он уже подзабыл про свои деяния и дела, и уж тем более про остроты.

Тугрик приложил книгу к своему хвосту, и хвост моментально скачал приложение. Енот стал выжидательно смотреть на свой живот, тот заискрился и воссиял, и по шерстке забегали строки. Тугрик с азартом читал текст, возникающий на его шерстистом пузе: «Посмотрите вглубь себя – что вас беспокоит? Что угодно, но только не то мгновение, которое вы проживаете сейчас. Это либо страх перед будущим, которое вы сочиняете так плодотворно, что начинаете жить там заранее, полностью переселяетесь в него. Либо – беспрестанное сожаление о прошлом, которое, сколь ни старайся, не изменить. Задумайтесь о себе, и вы поймете, что вы есть химера, созданная из вчера и завтра».

Тугрик хлопнул еще пятьдесят, живот озарила непобедимая волна света, и строки замелькали с новой силой, правда, вели они себя нетрезво: перекашивались, наслаивались друг на друга и толкались, а порой даже падали с живота на пол и исчезали: «Вырваться из челюстей прошедшего и грядущего можно только благодаря любви. Только любовь дает возможность жить настоящим. Только любовь дает шанс воистину быть, быть во всей полноте своего существа».

– Только любовь, Нати. Красиво как говоришь... А вот это что? – Тугрик указал на свой живот, на котором явились строки черные, строки суровые, строки ровные и трезвые: – Избранные парадоксы Эйпельбаума периода семейного пессимизма: «Цель брака – дети. Так

вынуждены считать те, чья жизнь не удалась, а мечты – разбиты. Каждый неудачник видит смысл своей жизни в другом, маленьком будущем неудачнике. Вечный круговорот несчастных...»

Натан вздохнул, а живот Тугрика продолжил предъявлять Эйпельбауму его собственные, давно им самим забытые слова: «Сам себя не полюбил, но надеешься, что через любовь другого себя примешь? Нет, друг. Из двух калек не получится одного здорового. Создать подлинную семью может лишь тот, кто всю жизнь способен провести в одиночестве»...

Енот вдруг полез обниматься. Целуя Натана, он восклицал: «Это так прекрасно, – чмок, – что ты ничего не понимаешь! – чмок-чмок. – Что ты ни в чем не разбираешься! Виват, Нати, виват! Браво, кипучее, браво, могучее пустое место!»

По животу Тугрика сновали строки из произведений Эйпельбаума периода как семейного нигилизма, так и семейного оптимизма. Тугрик раздраженно смахнул строки с живота, они скользнули на пол и, змеясь, исчезли под плитой. Последними под плиту заползли слова «вечный круговорот несчастных». Енот слегка погрузстнел и снизил интенсивность объятий и поцелуев.

– А вот теперь, Нати, главное тебе скажу: подлости я от тебя не ожидал. Как ты мог сказать, что тебе безразличны оставленные тобою люди?

– Да не безразличны! – оскорбился Натан. – Мне просто нечего им сказать, нечего! Я пуст! Пустое место!

– Ой ли?

– Ой ли! – злобно рявкнул Натан в лицо еноту, но тот не смутился и не обиделся.

– Каждым своим заблуждением ты был так увлечен, что оставил тысячи последователей.

Кухонная стена вспыхнула десятками фотографий. Лица женские и мужские сменяли друг друга, возникали и гасли: все это были люди, когда-то поверившие Натану и до сих пор не утратившие веры.

– Видишь тысячи этих оставленных тобой, тоскующих по тебе, верящих в тебя граждан и гражданок? Они – фундамент нашего политического актива! Ты же понял, к чему я клоню? – енот поднялся во весь рост, грудь его теперь пересекала лента с орденами, и он, сделав благородный полупоклон, поднял тост: – За царя Натана!

Эйпельбаум захохотал, замолк и засмеялся снова. Но тост поддержал.

Далее в памяти Натана случился непродолжительный провал: но он помнит, что вместе с енотом неумоимо сдвигал бокалы – во имя муз и разума. Сдвигал и увещевал:

– Тугрик, дорогой, я не верю в политические реформы. Все это пустое, все это неглавное. Необходимо преобразование человека, а не государства.

– Ты слишком русский Натан, ты чрезмерно, чрезвычайно русский! – енот начал с восторгом, но закончил с осуждением и грустью: – Твоя привычка жить, будто не существует государства, приведет к тому, что оно тебя сожрет.

– Преобразование человека! – упрямо повторял Натан. – А не государства! Этому я посвятил свою жизнь... Ты же видел, – Эйпельбаум указал на стену, на которой все еще мелькали эпизоды его прежнего жития, исполненного позора и героизма.

– Ты отравлен русской культурой... Как это случилось? Может, ты еще и православный? Может, ты сейчас воздашь хвалу смирению? Передо мной – бунтовщиком и карбонарием? Нисколько не стыдись своего рабства?

– Да при чем тут рабство, енот-ты-либерал!

– Что-то непристойное ты произнес сейчас, Натан. Покайся.

– Хватит уже! Я все понимаю! Верховенство права, торжество демократии – все это задачи великолепные! Но! Не первостепенные! – Натан налил себе снова и поднял рюмку. – Человеческий удел так трагичен, что...

– Ой, не начинай! Твоя любовная лирика у меня уже в печенке, а она ведь такая маааа-ленькая...

– Да я не про несчастную любовь! И если б только в ней было дело!

– Да вообще не в ней дело, Нати. Не верю я в нее, – он посмотрел на Эйпельбаума с внезапной суровостью. – Ты своим биографам голову морочить будешь, а я-то тебя знаю, как свои пять ноготков, – он показал Натану правую лапку, возложил ее на бутылку с водкой и поклонился. – Не верю ни в твою несчастную любовь, ни в простоту твою, которую ты тут передо мной изображаешь. Твое страдание – от жажды великого смысла и сокрушительной миссии, вот откуда оно, Нати.

Выпили снова. Погрузились глубже. Натан упрямылся:

– Ты пойми: лишь поверхностные люди могут надеяться, что со сменой правительства или сменой политической системы изменится трагическая сущность жизни. Это иллюзия, Тугрик, и я не стану ей служить. Зло слишком многолико и хитроумно, чтобы можно было победить его, изменив государственное устройство. Я верю в изменение мира только через изменение каждого отдельного человека. Усилия самосовершенствования можно предпринимать только в одиночку. Тут общество не поможет – ни хорошее, ни плохое. Никакое.

– Наливай! – патетически приказал Тугрик. – Открывай и наливай!

– Вторую бутылку? А впрочем... – Натан выполнил повеление енота. – Как в тебя вмещается? И печень у тебя, говоришь, карликовая?

– Я такого не говорил, – насупился енот.

– А как у тебя с похмельем? Утром нужен рассол? Сохрани баночку, вот эту, с черри... Ты чего?

Тугрик трясся от смеха на коленях Эйпельбаума. Они выпили еще по одной, и еще по одной. Енот закусывал орехами и занюхивал хвостом, предлагая Натану сделать то же самое. Тот сначала отказывался, но когда часы пробили два, согласился: погрузил нос в теплую шерсть и глубоко вдохнул, совершив третью, уже окончательную мистическую ошибку. Натану показалось, что от запаха хвоста он опьянел сильнее, чем от водки.

А енот вновь пошел в атаку.

– Это ты, Натан, поверхностен. Подумай! Порядочно ли требовать самосовершенствования от людей, которых неутомимо, ежеминутно насилуют? Честно ли ждать, что саморазвитием займется тот, кто обокраден и одурачен? Это демагогия! И подлость, – в голосе Тугрика явились интонации обвинительные и неумолимые. – Ты думаешь, Натан, что изъясняешься как философ? А ты подобен циничным политикам и хищным попам! Не обижайся. Кто еще тебе скажет правду, кроме енота?

– Да какие обиды, – обиженно пробормотал Натан.

– Знаю, что ты думаешь! – вознес Тугрик свой голос на вершины пафоса, вознес и уже не опускал до конца волшебной вечеринки. – А думаешь ты вот что: «Разве не благодаря страданиям выковываются крупные мысли и большие чувства? Так, может быть, и хорошо, что государство несправедливо, а люди – несчастны? Не выкуют ли эти муки титанов духа?»

– Вы-ку-ют... – повторил Натан по слогам, словно пробуя этот глагол на вкус.

– Я угадал, Нати? Совестно признаться, да?

– Ты огрубляешь, Тугрик! Как же ты все огрубляешь...

– А представь такую картину: на кострах сжигают людей, а кто-то умный-разумный, вот прямо как ты, подходит к ним и восхищается: «Ну как же здорово придумано с кострами! Не надо вопить! Пламя выводит вас из зоны комфорта! Поговорим после аутодафе. Увидите, какое это обновление».

Енот решительно соскочил с колен Натана, встал напротив и посмотрел настолько суровым взором, что Эйпельбаум начал трезветь.

– Не уподобляйся таким умникам. Погаси костры и разметай угли. Освободи людей и накажи инквизиторов.

Трижды прокукарекал петух. Не успел Натан воскликнуть – «Откуда ж петухи в Москве?» – енот приложил палец к его губам и прошептал: «Вот против петухов мы бунтовать не станем. Не наш уровень».

Прячась в коробку и утрачивая дар речи, Тугрик дал последний на сегодня завет:

– Ступай в Кремль, Натан.

Больше Эйпельбаум к водке не прикасался, а ранним утром вышел из дома и сел в метро, ничего вокруг себя не замечая, а стремясь мысль разрешить: с чего же начать – с преобразования человека или изменения политической жизни?

На Охотном ряду Натан исполнился решимости начать с преобразования человека, на «Библиотеке имени Ленина» усомнился в этом, и решил сначала преобразовать государство.

Когда Эйпельбаум вышел на Красную площадь и направился к Кремлю, один-единственный, но пронизательный взгляд на двуглавого орла помог ему обрести истину: войну надо вести на два фронта, воздействуя одновременно на духовную сущность человека и политическую структуру государства.

«Господи, как все просто!» – рассмеялся Натан.

Чувствуя неотложность задачи, побуждаемый хором страждущих, который он слышал теперь и наяву, Натан попытался прорваться в Кремль, чтобы воззвать к тем, кто называл себя элитой...

Кремлевская охрана не оценила его идей, не оценила благородного порыва: уже через минуту Эйпельбаум мчался мимо Мавзолея, стремясь поскорей скрыться в глубинах московского метро. Он ехал домой, на «Бабушкинскую», и мысль его, свободная и печальная, мчалась вместе с поездом:

«Иначе и быть не могло. Охранники несчастного тирана сами несчастны. Но они так полюбили свою неволю, что готовы уничтожить каждого, кто попытается сломать прутья их клетки. – Натан с состраданием вспоминал кремлевских охранников, хотя один из них стукнул его прикладом по спине, чтобы навсегда отбить желание проникнуть в Кремль. – Неужели духовное пламя и талант подарены мне лишь для того, чтобы я всласть посмеялся над этими несчастными? Ты шутишь, Натан... Талант для того и дается, чтобы разделить общую судьбу, заболеть их болезнями, взять на себя их недуги...» Натан заметил, что повторяет один из ночных тостов Тугрика, но это его не смутило: разве истина теряет силу из-за того, что ее возвещает енот? Совсем наоборот!

Натан вернулся воодушевленным. Тугрик приметил это, но, как и положено, до полуночи был нем. А ровно в двенадцать до соседей Эйпельбаума донесся космогонический гвалт: Натан и енот примеряли и с гневом отбрасывали идеологии. Был отвергнут царизм, посрамлен марксизм, осмеян капитализм, поднят на смех либерализм и вышвырнут на свалку истории космополитизм.

Над идеей глобализации енот хохотал так потусторонне, так страшно, что у милейшего соседа Эйпельбаума, Ивана Порфирьевича Чирикова, до рискованных отметок поднялось давление.

– Что делать? – потрясал Натан соседей великим русским криком. – Кем стать, чтобы спасти страну? Как себя вести, чтобы мне поверили?

– И чтоб ты сам себе поверил, – веско добавлял Тугрик.

Обольщение идеологиями и бурное их отрицание сопровождалось неутомимой примеркой костюмов. Тугрик, как оказалось, днем метнулся в магазин, где закупил множество одея-

ний. В числе прочего он приобрел детскую военную форму – для своих будущих перевоплощений.

Голос енота обрел интонации ушлого политтехнолога: «Каждый ботиночек и платочек должен гипнотизировать и манить, должен навеки приковывать к нашей идее! А идею мы должны выбрать до первых петухов, и ее неотразимость должна быть равна твоей, Нати».

В полтретьего утра Натан предстал перед енотом: лапти, крестьянский кафтан, деревянный посох. Тугрик приблизился к Эйпельбауму вплотную, и, скептически прищуриваясь, обошел его со всех сторон. Достал неведомо откуда кипу и водрузил на голову Натана – словно короновал.

И хвост енота взвился к небесам победоносною трубою.

Натан Эйпельбаум становится русским националистом

Мы, исследователи жизненной дороги Эйпельбаума, удивлены не фактом обращения Натана к русскому национализму, а тому, что этого не произошло гораздо раньше. Не удивлены мы и тем, что именно с появления енота начался блистательный путь Натана Самоварца, как прозвали его в благодарном народе...

Долг ученых вынуждает нас прервать повествование, чтобы дать стенограмму нашей дискуссии. Не утаивая ничего, мы показываем, что наши головы «наполнены дымом непонимания», как выразился отец Паисий. Мы предьявляем читателю попытку постичь тайну и ее непостижимость. Мы считаем: необходимо показать, как наш коллективный разум искал истину и не находил ее, и как в итоге распался, чтобы воскреснуть – но об этом позже...

Мы решительно собирали остатки нашей воли, поскольку нам предстояло рассказать о фантастическом политическом взлете Натана, который, как полагали отец Паисий и богослов, можно объяснить только чудом (благодаря Эйпельбауму в политологии появился термин «претерпевшие чудо», описывающий перманентное состояние нашего прекрасного народа).

Дискуссия началась со слез батюшки.

– Что с вами? – я поставил перед отцом Паисием стакан воды.

– Печалюсь я, как в школьные годы на уроках алгебры. Что мы творим?! Объяснить один икс мы намерены через другой икс! К многоликому еврею прибавился говорящий енот, а мы что? Сидим да радуемся, что вот теперь-то наконец во всем разберемся! Мы что, олухи?! Одна тьма встретится с другой и вспыхнет свет? Мы в это верим?!

Раздалось хихиканье из тьмы, и мы заметили, что психолог угнездился отдельно от коллектива – в дальнем темном углу комнаты. Я все крепче убеждался, что психологами становятся, потому что тайно мечтают излечить себя и переносят на других свое подавленное желание избавиться от расстройств и маний. Заявляю об этом, чтобы быть предельно честным: с самого начала исследований я относился к психологу предвзято.

– Мы забираемся в дебри! – предупреждал нас отец Паисий. – Мы совсем не понимаем, почему Натан прекратил свою, пардон, амурную активность. Отчего так восстрадал, что захотел принять басурманскую веру? И что его сподвигло последовать за енотом?

Услышав свою последнюю фразу как бы со стороны, батюшка схватился за голову, горько нашептывая: «Последовать за енотом... За енотом последовать, братцы...»

– Всегда завидовал бородатым людям, – раздался из тьмы голос психолога, – ведь они могут утирать слезы бородой, если поблизости нет салфеток. А их поблизости почти никогда нет...

Батюшка оскорбленно приосанился. Я тоже: ведь салфетки лежали на столе!

– Зачем вы так? – обратился я во тьму.

– Шок нужен, – отвечала тьма. – Для прекращения истерики нужен шок. Жаль, током нельзя ударить. Помогло бы.

Я сказал психологу, что его бессмысленная жесткость меня конфузит и что если бы не необходимость в таком специалисте (особенно сейчас, когда патологии врываются в наше исследование бурным потоком), я бы поставил вопрос о его изгнании. Хихиканье из тьмы прекратилось, сменившись сопением и бормотанием: «Лечебным током... Лечебным, олухи».

– Простите великодушно, – елеинно заговорил отец Паисий, обращаясь во тьму, – но вы и есть наш главный помутитель. Я смиренно молчал во время реконструкции встречи Натана с енотом, ведь куда мне до высот ваших, куда мне до глубин... Но теперь делюсь непониманием: какова же причина мук Натановых? Там есть намек, что он страдает от любви. Правда это или как? С чего он вдруг готов на все услуги какому-то еноту? Наш психолог ничего не разъяснил:

то ли Натан мучается, то ли притворяется, то ли духовным поиском томим, то ли влюблен невесту в кого... Тяжко мне от такого начала...

– Упрощение есть насилие над предметом исследований, – отвечала тьма.

– А я вот уверен, – голос отца Паисия достиг вершин благостности, – что фразочку про «хищных попов» в уста енота вложили вы, дабы уязвить меня и церковь.

Тьма немотствовала.

– Нам предстоит обсуждение важнейшего вопроса, – я строго посмотрел в темный угол и ласково на отца Паисия. – Мы могли бы отнести енота к политическим галлюцинациям Натана, если бы не знали, что произошло в дальнейшем.

– О дааа... – протянул астрофизик. – Жуткий период. Я глазам не верил.

– Так или иначе, – подавал я коллегам пример трезвомыслия, – Тугрик принял самое деятельное участие в политических преобразованиях. И ни у кого не вызвал протеста енот, занимающийся государственными делами.

– Увы, – резюмировал политолог. – Енот в паре с евреем совершили невозможное.

Надев очки для чтения и обратившись к разложенным на столе документам, я принялся публично размышлять:

– Что нам известно? Во-первых. Когда Натан осознал величие своей миссии, Тугрик обрел круглосуточный дар речи, что свидетельствует о таинственной связи этих двух существ, – я загнул мизинец. – Во-вторых. Мы знаем, что енот во время посещения городской бани заявил Натану: «Моя речь – это на самом деле твоя речь. Без тебя я только пушистый дурак с хвостом».

– И принялся полоскать хвост в деревянной кадке, – дорисовал картину отец Паисий. – Как утверждают свидетели, – поспешно добавил он.

– В то же время нам известно иное, – перебил нас с батюшкой психолог, хотя я уже намеревался загнуть и безымянный палец. – Мы знаем, что на выходе из бани енот сказал Эйпельбауму: «Я прибыл с гималайских гор, чтобы тебе было легче стать самим собой. Ведь, надев маску, легче говорить от сердца. Я – твоя маска».

– Заметьте, – вступил филолог. – Енот разговаривал в том же стиле, что и Натан. А единство стиля, я вам доложу, штука покрепче единомыслия. Язык – это больше, чем кровь, вы же помните?

– Также енот говорил: «Я – огневое прикрытие твоей отваги и щит твоего бесстрашия», – весомо произнес политолог и как бы вскользь добавил: – По моим данным.

Богослов, вызывая недовольство политолога и филолога, вступил в дискуссию:

– Как же нам соединить эти противоположные версии? Енот помог Натану проявить свою истинную сущность? Или Натан помог животному стать влиятельным политиком? Иными словами: есть ли у нас основания утверждать, что енот – это политическое альтер эго Эйпельбаума? Или же Натан попал под мистическое влияние гималайского четвероногого и действовал по его воле?

Мы загрузили, подавленные грузом неразрешимых вопросов.

– Теперь вы понимаете, почему я с самого начала настаивал, что в наших рядах должен появиться зоопсихолог? – обвел я собравшихся победоносным взглядом. Но торжествовал я недолго: тайна трепетала и дразнила, а постичь ее мы не могли даже коллективными умственными силами.

– Растолкуйте мне, недалекому, – взмолился отец Паисий, – хотя бы одно растолкуйте: откуда взялся гигантский самовар в квартире Натана? Не енот же его смастерил? Он что, – вскричал батюшка, – он что, умел паять?!

Богослов закурил трубку. Ореховый табак окружил нас так плотно, словно мы оказались под воспламенившимся орешником.

Мы молчали. Лишь батюшка стонал в ореховом дыму: «Если енот умел паять, то все кончено...»

Мир входящим

Натан облачился в крестьянское платье, стал питаться исключительно щами и кулебяками, а спать ложился в огромном самоваре.

Вскоре по Москве разнесся слух – поначалу с оттенком осуждения и комизма, а потом преклонения и восторга, – что некий изумительный еврей поселился в самоваре и произносит оттуда настолько проникновенные славянофильские речи, что тают сердца даже самых закоре- нелых либералов. Говорили, что сторонники Запада и прогресса прямо там, у чудесного само- вара, надевают лапти, навеки отрекаясь от модных европейских туфель; менеджеры среднего и высшего звеньев бросают наземь свои айфоны и берут в руки плуги, пытаясь вспахать паркет в квартире Эйпельбаума.

Кто приходил просто поглазеть на чудесного енота и поразительного еврея, тот неиз- бежно становился адептом. Тех, чья душа предчувствовала, что Россия стоит на особом, неве- домом даже ей пути, встреча с Натаном потрясала до самых глубин, а порой и глубже.

Приходящих к Натану Самоварцу принимал енот.

Держа спину прямо и с достоинством, что абсолютно несвойственно енотам в дикой при- роде, он чинно предлагал гостям снять верхнюю одежду и обувь. Исполненный непостижи- мого символизма и полнейшей таинственности, он проводил гостей по узкому, даже тесному коридору, увешанному портретами Аксакова, Тютчева и других великих славянофилов. Подле каждого портрета енот останавливался и кланялся в пояс.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.